

ФРАНТИШЕК ЛАНГЕР

Л 22.

P 34832

ДЕТИ И КИНЖАЛ



ОГИЗ ГОСЛИТИЗДАТ 1945



Ф Р А Н Т И Ш Е К Л А Н Г Е Р

ДЕТИ и КИНЖАЛ

Перевод с чешского
А. ГУРОВИЧА

О Г И З

Государственное издательство
художественной
литературы
Москва
1945

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Деревня называется Подолье. Она расположена у подножия отлогого холма, вершина которого покрыта лесом. Оттуда, с вершины, виден промышленный город Кладно, тесно скученные трубы, шахтные надстройки, а ночью — зарево над железоплавильными и чугунолитейными заводами. Большинство подольских мужчин ходит на работу в Кладно. Чаще всего на шахты. Ещё лет тридцать назад угольные разработки были в двух шагах от деревни, и шахтёры обзавелись избами и домиками в Подолье, а подольские батраки превратились в углекопов. Почти у каждого появился вскоре свой кусок земли и огород, и они остались здесь, даже когда подольские разработки были заброшены ради более богатых пластов ближе к Кладно. Шахтёры предпочитали вставать пораньше и ездить в город на автобусе или на велосипедах. Своя капуста и своя картошка стоят нескольких километров дороги и небольшой возни по возвращении с работы. И можно держать в хозяйстве лишнюю курицу, поросёнка, а то и козу, у кого есть малые ребята.

Рабочие живут в „переулках“, тогда как крестьянские дома — их не так много — расположены

вокруг сельской площади, как всегда бывает в очень старых чешских деревнях. Отдельные крестьянские дворы разбросаны по всей деревне, но многочисленные маленькие домики и крохотные огороды шахтёров придают ей характерный облик рабочего посёлка. И в старосты, само собою разумеется, выбирают теперь социалиста. Только два крестьянских двора можно было бы назвать усадьбами; у того, что побольше, тяжёлые резные ворота в стиле XVI века, а жилой дом крыт старой черепицей. Вот уже три столетия, как усадьбой владеет один и тот же крестьянский род.

Сельскую площадь делит пополам проходящая через деревню шоссейная дорога. Одну половину чуть не целиком занимает пруд, но другая ещё достаточно велика, чтобы там могла собраться вся деревня. Здесь постоянно упражняется пожарная команда — с насосом или без него, первого мая рабочие устраивают на площади демонстрацию с красными знамёнами, в духов день здесь ставится алтарь, украшенный зелёными берёзовыми ветвями, во время выборов выступают ораторы из Праги, а в дни свадеб торжественная процессия шествует через площадь к костёлу, а из костёла в трактир. Тут встречаются и обмениваются воспоминаниями старики, молодые люди и девушки завязывают тут дружбу, преддверие к будущему браку, по воскресеньям тут собираются под окнами трактира посмотреть на танцы и послушать музыку, а раз в год, в престольный праздник, странствующие торговцы раскидывают на площади палатки и выставляют напоказ свои богатства, устанавливается карусель и строится тир, а иногда располагаются и комедианты, если они приезжают. Здесь же любимое место детских игр;

ребятишки копаются в глине, а мальчуганы постарше гоняются за сшитым из тряпок мячом. И никогда на площади не затихает журчание пспешной деревенской жизни, ритм которой распределяется на год, а то и на годы, ибо события происходят редко.

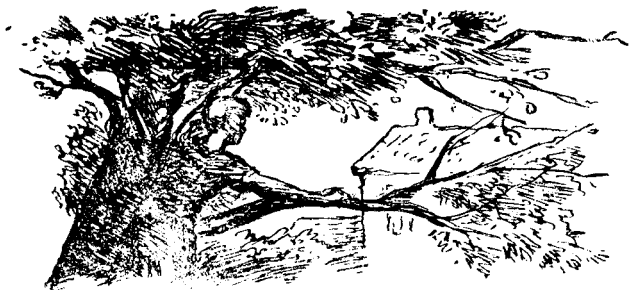
За прудом, на нижней половине площади, стоит костёл—здание с гармоничными линиями фасада, с лепными сводами над фронтоном; к паперти ведёт несколько широких ступеней. Внутри ограды—небольшое кладбище. Направо от костёла—дом священника с большим садом, рядом—школа. Если идти дальше вправо и миновать старую однодворскую усадьбу, то бросится в глаза трактир с танцевальным залом, а затем кузница, слишком большая для такой деревушки, но она была рассчитана на те времена, когда в шахтах знали только конскую тягу. И, наконец, на краю площади стоит с десятков низеньких строений, в числе их—дом сельского правления, где помещается и библиотека, и единственный в Подолье двухэтажный дом, самый невзрачный домишко на углу; внизу здесь мелочная лавка Юстица, а наверху жандармский пост.

На самой середине площади стоит старая липа. Три человека еле могут обхватить руками её ствол, кора её точно вспахана плугом, а вся сердцевина выедена столетиями. Уж не меньше, чем пятью-шестью, — столько насчитывает память о Подолье, — но знающие люди говорят, что дерево видало столетий восемь или девять, что свидетельствует о ещё более древнем происхождении Подолья, хотя от тех времён не дошло до нас никаких записей о деревне. Ветви липы так широки и так раскидисты, что в их тени может рассесться всё население деревни. Даже если бы это не была традиционная чешская липа,

подоляне почитали бы её как священное дерево — за красоту и за старость. И так величественны огромные ветви, возносящиеся ввысь и простирающиеся вширь, словно объятия, раскрытые для всей вселенной, и так благородны строгие линии стоящего против липы маленького костёла, что оба вместе служат как бы звеном, связующим зарывшуюся в землю деревенскую жизнь с небесным сводом и со всем, что над ним и под ним. И хорошо, что у деревни есть эта постоянная связь с вечностью и с бесконечным, ибо вообще она не склонна поднимать взор кверху и слишком занята своими повседневными заботами, которых у неё хоть отбавляй, и своими радостями, когда они бывают.

Выйдем ещё на минуту за околицу деревни. Покатый склон весь разбит на мелкие кусочки пахотного поля; он словно сшит из собранных постепенно прямоугольных лоскутов. Между ними там и сям попадаются остатки прежних разработок — поросшие жиденькой травой, бесплодные горки пустой породы либо изгрызанные кирками ложбины. За деревней течёт речка с каменистым дном, неглубокая, пересыхающая летом. Но ольхи, вербы и несколько тополей на берегу дают всё лето зелень и прохладу.

Время — 1939 год, год злосчастья.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ещё не просохла земля, и в тени ещё лежал местами снег—остаток мартовских метелей, а деревенские мальчуганы уже возобновили на лугу и на полях прошлогодние игры, вели ожесточённые сражения, кололи штыками, рубили шашками, громили, брали в плен и преследовали неприятеля. Эти игры начались прошлой осенью, когда весёлые солдаты с георгинами за околышем фуражки и за ремнями конской сбруи шли к пограничным горам, оборонять их против немцев. Они возвращались потом молчаливые и злые. Они готовы были плакать, как плакали беженцы, которые тянулись толпами и тащили на себе узлы или толкали ручные тележки с разным скарбом, оставляя за собой опустевшие, захваченные чужими земли. Тогда-то все и поняли, к чему их приговорили в Мюнхене. С тех пор прошла всего лишь одна осень и одна зима, шесть месяцев, так быстро пролетающие всегда в потоке дней, но на этот раз они тянулись медленно, как ночь в комнате, где лежит умирающий. И, наконец, пришли последние томительные часы, которые все—от мала до велика,—все восемь миллио-

нов человек в стране провели у радиоприемников, а утром в школе учитель сказал детям то, что они уже знали из сообщений дикторов, словно они ещё недостаточно это знали: „Помните, дети, что сегодня немцы вторглись в Чехию, в Моравию, в Прагу“. Дети ещё никогда не видели такого опечаленного лица, как у учителя, и никогда не видели столько опечаленных лиц, как в тот день. Но нужно много времени, чтобы оторвать детей от их излюбленных игр. Ровно столько же времени, сколько нужно, чтобы пробудить взрослых от сна. И мальчики возобновили свои игры с того самого места, на котором они были прерваны снегом, но только теперь они играли в солдаты уже назло, из упрямства. Лишь изредка через деревню проезжал на грузовиках или на мотоциклах отряд немецких солдат. На головах у них были стальные шлемы, и они были вооружены до зубов, как и полагается в насильственно захваченной стране. Немцы проезжали, не останавливаясь, быстро. Деревня и впрямь была маленькая и лежала в стороне, а немцам досталась такая огромная добыча, что им было сначала не до Подолья.

Но дошла, конечно, очередь и до него. Немцы расползлись по всей стране, как злокачественная сыпь. В такой важный для них промышленный центр, как Кладно, они тотчас же поставили свой гарнизон, посадили там свою полицию и шпиков, своих инженеров, директоров и надзирателей на шахтах и заводах. И десятка два окрестных деревень, которые снабжали Кладно рабочими руками, тоже получили немецких полицейских. В Подолье прислали шестерых, во главе с толстым вахмистром; они устроились в двухэтажном доме на площади, над мелочной лавкой. Мальчики, которые как раз играли на пло-

щади в футбол, сбившись в кучку, смотрели, как они слезали с грузовика и, переругиваясь по-немецки, вносили свои вещи в дом. Вскоре, впрочем, ребята с равнодушным видом, словно зрелище не стоило их внимания, вернулись к игре. Но когда после обеда они вышли за деревню играть в солдаты, игрушечные деревянные штыки и ружья как-то перестали доставлять им удовольствие. Игра сама собою оборвалась. Дети уселись на опушке леса. Немцы не выходили у них из головы, и они делились сведениями— обрывками сведений, подхваченными на лету у взрослых. Немцы нахальные и жадные, бесчувственные и спесивые, и в то же время они глупые—их нетрудно водить за нос и устраивать им всякие неприятности.

За этими разговорами и застал их старик Яноушек. Он тоже принял участие в беседе и говорил с ними не как взрослый с ребятами, а как равный с равными. Все возрасты и все сердца переживали сегодняшние события одинаково. Для всех они были последней тяжестью, которой нехватало, чтобы до конца почувствовать своё порабощение, тем последним, о чём люди знали до сих пор лишь смутным чувством и о чём сегодня им говорили собственные глаза, собственные уши и проснувшаяся с небывалой силой любовь к своей уютной, чистенькой деревне.

— Я решил — уйду лучше, — рассказывал Яноушек, — а то ещё немцы пошлют за мной и начнут командовать. Чего доброго, сбегай и принеси им пива. Ну, так этого они не дождутся.

Яноушек был сельским исполнителем, рассыльным, стражником и чем угодно ещё, так как никогда не отказывался сделать то, что кем-нибудь должно было быть сделано. Все мелкие поручения, которые он выполнял для общины,

Яноушек считал необычайно важным делом, хотя в его прошлом были дела и покрупнее. Во время первой мировой войны он был в легионе, который сражался на Западе против немцев за свободу родной Чехословакии, — ну, да разве теперешняя молодёжь умеет уважать старых легионеров, она не чувствует почтения даже к человеку, который один из своих знаков отличия получил из рук самого Масарика!

— И помните, что с сегодняшнего дня Яноушек — частное лицо. Я ходил к старосте и отказался от службы. Чтобы не прислуживать немцам. И чтобы община за меня не отвечала — мало ли что я буду делать.

— А что вы будете делать, дяденька? — заинтересовались мальчики.

— Сам не знаю. Нас как обухом по голове хватили, никто не знает, что ему делать. Может быть, отточу бритву поострее и буду резать горло этим разбойникам. Днём буду спать, а как стемнеет, буду вылезать из своей норы и подстерегать их. Может быть, откуда-нибудь станут приходить приказы — делайте то-то и то-то, и я буду повиноваться, как солдат. А может быть, пойду в Прагу, сяду у Каменного моста наземь, как нищий, и повешу на грудь свои ордена, чтобы люди видели и не забывали. Не знаю, ребята, что я буду делать, но что-нибудь уж буду.

Он вынул из-за пазухи платок, положил его на траву и развернул. На белом полотне лежали ордена и медали с красно-белыми ленточками.

— Они теперь начнут ходить по домам и отбирать всё, что напоминает нам о свободе. Они думают, что это очень просто: забудем и начнём их слушаться. Ну, а я хочу, чтобы меня похоронили с моими орденами на груди. И у меня они их не отберут. А если что со мной случится,

так вы, ребята, помните, что я всё держу за пазухой. Ну, мне пора. Пойду в Тыницу. Туда тоже нагрянули эти бандиты. Так я хочу послушать, что говорят об этом легионеры в Тынице.

И старик неторопливо зашагал по просёлку.

Когда он скрылся за поворотом, мальчики сложили в кучу все свои ружья, луки, копья и мечи и подожгли костёр. А когда стемнело и в деревне наступила тишина (сегодня всё затихло раньше, чем обычно, так как все сидели дома и в трактир никто не пошёл — там наслаждались пивом немцы), ребята собрались у дремлющего костра. Оттуда они осторожно двинулись к школе, обошли её кругом, и Ярка Дворжак взобрался на дрова и влез в окошко. В классной комнате он взял из шкафа национальный флаг, давно уже не развевавшийся над школой, и снял со стены портреты президентов Масарика и Бенеша. Если немцы будут ходить по домам, то уж, наверное, не забудут и школы! Мальчики долго судили, куда всё это спрятать. Совещались взволнованно, но тихо. Под конец решили, что лучшего тайника, чем дупло старой липы, не найти. И на следующий день учитель ничего не спрашивал, хотя и видел, что на стене вместо портретов пустое место, а из шкафа исчез красно-белый флаг с синим клином, и мальчики поняли, что он не станет их бранить за новую игру.

А в деревне, с тех пор как пришли немцы, каждый день новости. Старосте Белику пришлось бегать по соседям и записывать, сколько у кого голов рогатого скота, сколько свиней, сколько молока дают коровы, и у кого есть лошадь и сколько ей лет. Потом на телеграфных столбах и на дверях школы, трактира и сельского правления немцы налепили приказы на двух языках — немецком и чешском. Ну, этот чеш-

ский язык был такой закрученный, он так заикался и шепелявил, что люди хохотали, и им казались несерьезными все угрозы тюрьмой и смертью за непослушание немецким господам. Ещё через несколько дней в Кладно были волнения среди рабочих, и немцы захотели показать всему окрестному населению, что они всегда в полной боевой готовности, всегда на-чеку. И даже по такой маленькой деревушке, как Подолье, стал непрерывно расхаживать патруль из двух немецких полицейских, увешанных оружием с головы до ног. Деревня почувствовала, что немцы вторгаются в её повседневную жизнь. Взрослые засели у себя в четырёх стенах, мало кто показывался в переулках и на площади, и мало было слышно громких окликов с крыльца или из-за забора. Если надо было что-нибудь передать соседу, лучше было зайти к нему домой. Только мальчуганы попрежнему продолжали играть на площади, почти совсем обезлюдевшей. Их словно дразнила тишина деревни, и они кричали громче, чем всегда. Особенный крик поднимался, когда к площади приближался немецкий патруль. Тут они орали так, словно в них вселился бес, и в этих криках выливалась злоба всей деревни.

Как-то раз один из немцев принёс большую кисть и ведёрко с известью и написал на окне мелочной лавки: „*Jude*“ — „Еврей“. Ну, и что из этого? Деревня двадцать пять лет знала, что Юстиц еврей, потому что несколько раз в год, одетый по-праздничному, он отправлялся в Кладно, в синагогу, и в эти дни лавка бывала закрытой. Но больше он не отличался от других ничем, говорил на том же языке, читал те же газеты, так же охотно и хорошо играл в карты и в кегли и лучше всех делал прививки на

фруктовых деревьях. Оттого, что немцы испачкали ему окно, покупателей у него не стало меньше. Но Юстиц хорошо знал, что было с его единоверцами в Германии, и знал, что и в Чехословакии особой деликатности ждать от немцев не приходится. Он обошёл всю деревню, со всеми попрощался и роздал детям весь свой запас конфет и шоколада. Что ж, Юстиц был человек благоразумный и всегда знал, что делает. И когда на следующий день он укладывал свои пожитки на телегу, которую одолжил ему трактирщик, Яноушек и кузнец пришли помочь ему, а провожать его явилась вся деревня.

— Не унывай, Иосиф, скоро вернёшься!— кричал кузнец вслед телеге.

— Когда-нибудь лопнет терпение у господ бога, у всей земли и у нас!— пояснил Яноушек.

Юстиц приподнялся на телеге и грустно закивал головой на прощанье. Говорили, что он заплакал. Через неделю немцы привезли в Подолье нового торговца. С грузовика, битком набитого старой мебелью, слез долговязый тощий человек с женой, служанкой и шестью детьми, из которых младшему было семь, а старшему двенадцать лет. Немцы-полицейские сами сняли с грузовика мебель, смыли с окна надпись и прикрепили над входом вывеску, на которой значилось: „Фридрих Шульце“. Но покупателей Фридрих Шульце не дождался. Женщины давали заказы мужьям, и те покупали всё в Кладно, а если что-нибудь требовалось срочно, то какой мальчуган откажется слетать в потребительскую лавку в Тыницу? Для такого дела он мог у кого угодно попросить велосипед, и ещё никогда подольские мальчишки не были так услужливы, как сейчас.

Все немецкие начинания получали толчок как

бы от некоего механизма, приводимого в движение невидимой рукой, издалека. Немцы вообще работают, как шестерни, не заботясь о том, кого и где заденут их зубцы. Сначала шестерни только скрипят, вы только чувствуете их неприятный, резкий ход. Но вот они проделали пол-оборота, поднимается рычаг, и через мгновение люди раздавлены под прессом или задушены в тисках.

В Подолье это почувствовали в первый раз, когда однажды ночью, неизвестно откуда, приехали полицейские, арестовали шахтёра Климента и увезли неведомо куда. Климент жил на краю деревни, и подоляне узнали о случившемся, только когда его жена начала отчаянно колотить в соседские ворота. Сосед выбежал на стук и нашёл её в обмороке. У Климента всё было перевернуто вверх дном и не осталось ни одного незабранного клочка бумаги. На полу темнела большая лужа крови: Климента ударили прикладом по зубам, когда он просил, чтобы ему позволили хотя бы одеться. А утром, ещё до того, как шахтёры успели собраться на работу, разнеслась весть; что этой ночью по всему округу были арестованы работники их партии. Все. Вплоть до самых маленьких, до таких вот бойких, подвижных Климентов, которые только разносят повестки на собрание, составляют списки и собирают взносы.

— Жди, жена, к обеду, — говорили шахтёры, отправляясь на работу. — Если их не выпустят, объявим забастовку и разойдёмся по домам.

Но вернулись все лишь к вечеру, как обычно. — Ну, что, их выпустили? — спрашивали жёны.

— Нет, — отвечали мужья. — Грозят, что расстреляют их, если будет хоть малейшая заминка в работе.

И пришлось ограничиться попытками как-нибудь утешить несчастную жену Климента, которая, собрав в узелок кое-что из мужниных вещей, ходила к немцам, обивала все пороги, просила и умоляла, чтобы ей позволили хоть повидаться с мужем, но каждый раз возвращалась из своих печальных странствий всё более измученная, с новым отчаянием в душе.

Ещё не притупилась боль от этой раны, а уж немецкая машина нанесла новую. Оказалось, что не случайно в качестве подходящего для Подолья торговца был выбран Фридрих Шульце, отец шестерых детей предусмотренного законом школьного возраста. Сначала к старосте явился только вахмистр, а когда они ни до чего не договорились, приехало какое-то высокоблагородие из Праги, и, кроме старосты, вызвали для разговора ещё священника и учителя. Разговор был очень прост: так как в деревне теперь столько немецких детей, то преподавание в школе должно вестись по-немецки. Учитель и староста ссылались на какое-то распоряжение и доказывали, что для немецких детей должна быть организована своя школа,—это правда,—но /не больше, и они охотно готовы отдать помещение библиотеки, светлое и просторное, под классную комнату для шульцевых детей. Но вахмистр и немец из Праги стояли на своём. Смешно, конечно, что из-за полдюжины приبلудных немчиков пятьдесят чешских ребят должны были учиться на языке, которого они не понимали, но из Праги от школьного начальства пришло подтверждение. Староста, учитель и член сельского правления Матейка ездили в Прагу, где им сказали, что их жалобу перешлют в Берлин, но пока они должны подчиниться. Учитель задержался на несколько минут у важного чиновника.

Он был знаком с ним раньше, и ему была даже предложена папироса.

— Пока ничего нельзя сделать, — сказал господин советник. — Вы ведь знаете, коллега, как обстоят дела в Кладненском округе. Почва там накалена. И мы должны идти навстречу немцам в мелочах, чтобы им не пришло в голову что-нибудь более серьезное. Например, выселить всех жителей из края. Имейте немного терпения, до каникул осталось всего два с половиной месяца, и я вам ручаюсь, что осенью наши дети опять будут обучаться на своём родном языке. Я понимаю, что очень обидно из-за четырнадцати немецких детей, что составляет, впрочем, около двадцати процентов...

— Всего из-за шести, господин советник.

Так ни к чему и не пришли.

Вечером соседи собрались у сапожника Матейки. Матейка единственный из всей деревни носил бороду и очки, и у него был не только умный вид, но и умная голова. Он много лет работал в Вене, а одно время странствовал по свету в поисках работы и побывал даже в Париже.

— Одно за другим у нас отнимут всё, — сказал Матейка. — Когда отнимают свободу, то больше всего теряет бедный человек, потому что свободы у него никогда не было много. Они будут отламывать по кусочку, всё больше и больше, и мы будем терять, а они брать. Мы сами ведь не знаем толком, из чего наша свобода состояла, а они знают. И заберут всё, как по описи.

Не прошло нескольких дней, как вахмистр начал приставать, чтобы чешские учителя очистили школу, так как через неделю приедет учитель немец. Иначе он велит своим людям выкинуть

их со всеми потрохами на улицу. Первой уехала учительница, которая занималась с детишками поменьше. Она брала их на руки, одного за другим, и целовала. От слёз ни она, ни дети не могли выговорить ни слова. Дня через два прощался со старшими учитель. Ребята оделись по-праздничному. В таких костюмах они всегда чувствовали себя, как зашнурованные, а сегодня шнуры сжимали им ещё и сердце. Не успел учитель раскрыть рот, как девочки уже начали всхлипывать, да и у мальчиков были красные глаза. Он говорил на прощанье о тех возвышенных предметах, для которых только учитель умеет находить подходящие слова и расставлять их по местам, — об отечестве, народе, истории, красоте земли, любви к родине, предках, свободе, независимости, праве, самопожертвовании и спасении. А в заключение он медленно и внятно, словно у них был урок диктовки, стал говорить о родном языке, которым держится и без которого гибнет душа народа; нужно его любить и лелеять, нужно ему учиться и беречь его в тяжёлые годы испытаний.

После обеда все провожали его за деревню. На плечах у него был короткий непромокаемый плащ, на голове фуражка, за спиной мешок, в руке палка с железным наконечником, как у путника, отправляющегося в горы. Махнув рукой в последний раз, он прибавил шаг и вскинул палку на плечо. На фоне неба его удаляющаяся фигура была похожа на силуэт солдата с винтовкой на плече. Говорили, что учитель пробирается за границу, как многие неведомо куда исчезнувшие жители деревень, о которых соседи шопотом передавали друг другу. Они собираются где-то все вместе и, когда начнётся война, пойдут в бой против немцев.

Вскоре в школьном помещении водворился привезённый откуда-то немецкий учитель. Это был невзрачный человечек, уже немолодой, с брюшком, который даже в тёплые дни ходил в чёрном сюртуке, носил всегда высокий крахмальный воротничок и старался напустить на себя важность. В первый день школа была пуста; на урок пришли только шестеро детей Фридриха Шульце. Но вечером старосте, по приказу вахмистра, пришлось обойти всех родителей и объявить, что за каждый пропущенный урок немцы будут взыскивать крупный штраф. На следующий день дети явились в школу и набились в класс, который прежде вмещал только половину из них. О каком-либо учении не могло быть, разумеется, и речи. Учитель, правда, знал немного по-чешски, но это был такой своеобразный чешский, что каждую минуту раздавались взрывы смеха. Через несколько дней учитель уже ничего не говорил, когда наиболее отчаянные хохотуны не приходили в школу, и в классе у него было меньше шума и больше воздуха. Ребята быстро сообразили, что достаточно самого ничтожного предлога, и можно не являться на уроки; вскоре школа, как правило, наполовину пустовала. Только шестеро шульцевых детей всегда являлись аккуратно, всегда все шестеро вместе, входили в класс, поднимали правую руку и пискливо возглашали: „Хейль Гитлер!“ Да ещё несколько малышей продолжали ходить в школу, а из старших только девочки, у которых родители особенно боялись штрафа. Мальчики постарше приходили, только когда у них было что-нибудь на уме, как, например, в тот день, когда они намалевали мелом на учительском стуле паучий гитлеровский крест, и учитель ходил потом по всей деревне со свасти-

кой на заду. В конце концов служанка Шульце почистила ему брюки, но вся деревня успела вдоволь насмеяться. Вахмистр не донёс по начальству об этой насмешке над священным знаком, так как главной жертвой был „этот умник“, которого он презирал и который, со своей стороны, не оказывал ему надлежащего почтения. В трактире, где столовались все немцы, умник без должного воодушевления слушал высокопарные рассуждения вахмистра о немецкой политике, о мощи Германской империи и славе фюрера и еле цедил слова, когда вахмистр хвастливо рассказывал, как он „учил“ коммунистов и евреев задолго до того, как это было разрешено законом.

Хотя в деревне, как в эпоху родового быта, все взрослые всем детям — дядя, тётка, дедушка, крёстный, тем не менее взрослые и дети живут по своим собственным законам, точно два разных племени. У детей есть свои игры, слова, обычаи, поверья, правила, у взрослых — заботы, мысли, развлечения, политика и другие неприятности. Два мира, которые друг другом мало интересуются, и каждый всегда настороже перед другим. Дети знают, что если взрослые вмешаются в их дела, из этого не получится ничего, кроме запретов, жалоб и шлепков. А взрослые не допускают детей в свой мир, — пусть подрастут сначала, — и как только прибежит ребёнок, умолкают и отсылают его прочь или заводят речь о чём-нибудь обыкновенном, что совсем неинтересно, — о союзе, партии, заработках, выборах или о том, какие вчера пришли Янеку карты и сколько стоит сейчас мука. И детям было даже невдомёк, что в Подолье шла работа, какой деревня не занималась ещё никогда. В лучшем случае они знали, что у взрослых ко всем их

заботам прибавилась ещё одна — немцы, и это будет тянуться долго, как забастовка или протесты против снижения расценок. Да иногда ещё в горницу входил кто-нибудь незнакомый, и ребята отрывались на мгновение от увлекательной книжки и кидали на пришельца отсутствующий взгляд, или, разбуженные ночью громкими голосами пяти-шести мужчин, рассуждавших о прибытии и отходе поездов, они переворачивались на другой бок и старались поскорей заснуть снова. Они лишь по привычке спрашивали: „Куда ты, папа?“ — когда раздавался вечером стук в окно и отец поспешно надевал пальто. И они даже не старались разобрать невнятное бормотанье, которое служило им ответом. Всё как бы пролетало мимо них, не дозрев ещё до степени предмета, достойного их любопытства. К Дворжакам как-то поздно вечером пришёл человек, одетый франтовски, по-городскому. Такое посещение уже само по себе было событием, но ещё более замечательно было то, что у гостя один рукав его тёмносинего пальто болтался пустой. Человек был однорукий. Криста шила на машине, но, как только он вошёл, она бросила шитье и вместо всяких объяснений сказала только: „Ярка, я должна уйти. А ты через полчаса погаси огонь, как будто мы легли спать“. Ярка послушался сестры, решив про себя — опять что-нибудь с немцами, и, засыпая, думал лишь о том, как бы сунуть завтра парочку хороших жаб под кровать учителю. В другой раз Пепик Соуграда мельком упомянул, что у них ночевали несколько железнодорожников, но сказано это было мимоходом и разговоров никаких не возбудило. Кубин и Валента встретили за деревней двух велосипедистов; они просили показать им окольную дорогу, так как не хотели проезжать через По-

долье, и — что бы вы думали? — один из них был женщина, женщина в штанах! Вот это действительно было интересно, женщина в штанах, и если бы не это, мальчикам бы даже не пришло в голову рассказывать о встрече.

И точно так же ускользала от них связь между всеми этими неясными шорохами в деревне и слишком ясными приёмами немецких полицейских, налетевших на Подолье. Им казалось, что всё разразилось неожиданно, без всяких поводов и причин, как град во время жатвы или удар молнии. Вся деревня ещё спала, когда примчалось несколько грузовиков. Из них выскочили немецкие полицейские и солдаты и стали дубасить во все окна и двери и с револьверами в руках рыскать из дома в дом. Они упорно проверяли, все ли мужчины дома, о каждом староста должен был подтвердить, что он здешний житель, и они записали фамилии всех, кого не могли застать, потому что те работали в ночной смене. Когда они уехали, никто уже не ложился спать, а ребята рассказывали друг другу, как к ним ворвались немцы, как они разбили окно и орала на мать. И только утром разнёсся слух, что на железнодорожном пути, километрах в пяти отсюда, — только в очень тихую ночь бывает слышен стук колес, — поезд сошёл с рельсов. Удивительного тут ничего не было; трое суток перед тем шли непрерывные проливные дожди, и насыпь здорово размыло. Это был товарный поезд, а груз его состоял из великолепнейших авиамоторов, которые были изготовлены когда-то для чехословацких военных самолётов. От всего этого остались только мелкие осколки. Мальчикам не удалось увидеть эту картину, хотя, само собою разумеется, они немедленно напра-

вились туда: место, где произошло крушение, со всех сторон было оцеплено войсками.

Взрослые вставляли в окна стёкла, взамен выбитых прикладами, поправляли вывороченные изгороди, мыли полы, затоптанные немецкими сапогами. Они чинили и очищали свои пороги, тратя меньше слов, чем после градобития, они спешили после немецкого насилия поскорее вернуть своему дому его честный вид. Староста Белик ходил по деревне и ругался:

— И какого чорта ездил я в Вестфалию и научился там по-немецки! Теперь изволь быть рупором для этих негодяев!

Соседи утешали его:

— Ничего, Белик (или: ничего, товарищ,— в зависимости от того, кто говорил, люди постарше или кто-нибудь из молодых),— мы ведь знаем, что ты свой.

— Да,— отвечал староста,— зато я и буду первый, когда поведут нас вешать!

И он опять ходил из дома в дом и перекидывался с каждым несколькими словами, словно хотел удостовериться, что ни одна овца его стада не пропала.

Пока всё это происходило в одном мире, в другом продолжалась та игра, которую ребята начали, когда похитили из школы оказавшиеся под угрозой флаг и портреты. Не то чтобы они питали к школе какое-нибудь особое почтение или вдруг вспыхнули к ней чувствами, которых до сих пор она в них не возбуждала. Нет, просто к этой игре, состоявшей в том, чтобы считать школу и все школьные вещи своей собственностью, они как-то незаметно перешли от своих осенних игр в солдаты. Сначала они укрыли от опасности флаг и портреты, потом им показалось вполне естественным свести счёты с учителем,

который выгнал из школы их прежнего наставника и сам завладел ею. Целый день они придумывали, какую бы устроить ему пакость, затем раздобыли всё необходимое, спрятались в засаде, и в удобную минуту отважнейший из них привёл замысел в исполнение. Так в учительской квартире появились осы и муравьи, что могло быть, впрочем, сочтено обычной принадлежностью жизни на лоне природы. За ними последовали мыши и лягушки, и вообще мальчишки пустили в ход все свои познания по природоведению, чтобы преподнести учителю сурпризы. Учитель догадался, что происходит, когда нашёл в своей постелидохлую кошку. Оскорблённый в своих лучших чувствах, он пожаловался вахмистру, который в течение всего обеда изощрялся в остроумии, но после обеда приказал кузнецу набить учителю на окно решётку из шести железных брусьев. Между тем в походе против учителя приняли участие и взрослые: была открыта новая школа. Под школу отвели до самой страды, когда он потребуется для иных надобностей, общественный амбар за усадьбой Рыдлей. Сколотили скамьи из неотёсанных досок и поставили их прямо на току, на продольной балке повесили чёрную доску.

— Тут вы будете учиться по-чешски, чтоб не забывать,— сказала Криста, которой предстояло быть учительницей.

Она жила шитьём, но раньше, когда ещё был отец, погибший при взрыве в шахте, она посещала учительские курсы. Голова у неё была замечательная, жаль, что не удалось ей доучиться, зато, впрочем, и преподавала она не так скучно, как обычные учителя. Дети приходили в школу к Кристе прямо из немецкой школы, если им не удавалось вовсе увильнуть от

уроков немца. С малышами дело было очень просто: Криста играла с ними в вишнёвом саду за амбаром, и они уносили от неё пословицы и песенки, точно корзиночки с полезными словами. Ребята постарше, держа тетрадки на коленях, переносили в них то, что Криста писала на доске. Почерк у неё был почти такой же красивый, как у их бывшего учителя, и такие же изречения она давала им для заучивания наизусть. Иногда это были правила правописания, иногда — прекрасные, возвышенные мысли, взятые из книг. И утрамбованный ногами ток, и огромные почерневшие балки, и весь воздух амбара был напоён запахом зерна, которое складывали и молотили здесь с незапамятных времен, и вся эта школа пахла, как добрый, честный домашний хлеб.

Между тем после крушения поезда немцы подвинули пресс. Патрули ходили теперь по деревне уже не так, как прежде, — только для того, чтоб у людей был всегда перед глазами образ немецкой мощи. Теперь они на самом деле стали сторожить деревню, старались отрезать её от остального мира. Они останавливали каждого прохожего, спрашивали документы и допытывались, чего ему надобно в деревне, а если ответы их не удовлетворяли, отводили его на пост. Они останавливали даже автомобили, проезжавшие через деревню, и проверяли документы седоков. А по воскресеньям они стояли недалеко от костёла и внимательно вглядывались во всех прихожан, живших не в Подолье.

Немцы делали своё, и деревня делала своё. Можно ли углядеть за людьми, когда на их стороне ночная мгла и сотня полевых тропинок, по которым кто угодно может добраться задрами до деревни? Они связывают её с прочим миром,

точно сеть подземных коридоров. Какой невидимка, спрашивал себя Ярка, принёс Кристе целый тюк тоненьких книжечек и газет, а потом Яноушек долго приходил по вечерам за ними и разносил их по окрестным деревням? Как ухитрился проскользнуть в Подолье этот ловкач? У Дворжаков на чердаке лежал оставшийся ещё от дедушки ворох бумаги — чертежи и планы старой подольской шахты, в которой все Дворжаки работали с малых лет. Несколько ночей подряд рылись в них отставные старики-шахтёры Голас и Кубин, которые когда-то тоже работали в этой шахте. И каждую ночь приходил с ними кто-то третий, которого они называли „пане инженер“. Криста варила им кофе. Откуда взялся этот третий? И чего вдруг кузнец занялся теперь починкой автомобилей? Прежде, если с какой-нибудь машиной случалась авария на дороге, приходилось тащить её в Кладно. А теперь, — ребята тоже при этом помогали, — её подкатывали к кузнице. Правда, иной раз у кузнеца ничего не выходило и машина оставалась в Подолье до утра, а шофёр ночевал у кого-нибудь из подолян; утром приезжал откуда-то механик и исправлял все повреждения одним ударом молотка. И сколько посторонних бывало таким образом в Подолье!

А один раз даже... Ну, словом, дело было так. Вечером прикатил на велосипеде парень из тыницкого почтового отделения (конечно, патруль его остановил и допросил, к кому и зачем) и привёз Кристе телеграмму от пражской тётки. В телеграмме не было ничего особенного, говорилось только, что тётка выздоровела. У тётки несколько раз в году бывал прострел, но никогда она не оповещала так торжественно о своём выздоровлении. Эту телеграмму Ярка но-

сил к Кубиным. Они были в отдалённом родстве с Дворжаками, и Криста считала, что им будет интересно узнать о тётинном здоровье. И вправду, дедушка Кубин сказал: „Ну, я очень рад. По крайней мере тётя весело проведёт праздники“. Это было незадолго перед троицей. Когда Ярка возвращался, он смотрит и видит вдруг: в саду за домом стоит какой-то человек. Человек был одет в непромокаемое пальто с поясом; на голове у него была кепка; всё самое обыкновенное. Но тут Ярку словно осенило: это однорукий! И ему показалось, что он действительно видит пустой рукав, пришпиленный к карману английской булавкой. Но не успел Ярка подойти поближе и поздороваться,— он считал, что уже знаком с одноруким,— человек исчез, а на том месте, где он стоял, серел вишнёвый ствол. Словно человек волшебством обратился в дерево. Ярка рассказал об этом Кристе, но Криста недоверчиво покачала головой. А Ярка рассказал о встрече только потому, что подумал: ну, вот вам и немецкие патрули!

В духов день произошёл взрыв в шахте „Праго II“. Подольские шахтёры сразу сказали, что это „Праго II“, когда со своих крылечек увидели на северо-западе взлетевший к небу столб земли и дыма. Эта шахта была для немцев важнее всех; здесь было больше всего немецких надсмотрщиков, и каждый день в Германию отправлялись целые поезда, груженные высокосортным углём из „Праго II“.

-- Милосердный бог недаром выбрал для этой кары большой праздник,— говорили женщины,— в шахте не было ни души.

Вскоре приехал из города молодой Голас и

привёз подробности. Ещё ночью раздалось несколько небольших взрывов в старой штольне. Это послужило предостережением, и все, кто ещё оставался в шахте, бросились наверх. Сейчас вся шахта горит, а в нижние коридоры хлынула вода. Зальёт, наверное, всю шахту. Голас хотел съездить в соседние деревни и поделиться новостями, но немецкая полиция уже заняла все дороги вокруг Подолья и никого не пускала ни туда, ни оттуда; часть полицейских ходила с Беликом по деревне — Белик должен был всех мужчин немедленно собрать у сельского правления. Надо проверить, кого нет дома! Некоторых, разумеется, недоставало, но шахтёры все были налицо, все они хотели, пользуясь праздником, выспаться как следует. Только старый Голас и старый Кубин рано утром ушли в Мотычин на какие-то шахтёрские похороны. Старикам-пенсионерам только и дела, что участвовать в каком-нибудь шествии или хоронить умершего товарища. В таких случаях они надевают старинные шахтёрские куртки — чёрные, с чёрными шнурами и кистями, и фуражки с высокой тульей, и у каждого в руке зажжённая рудничная лампа. Стариками, которые больше не работали, немцы не интересовались, а остальным через некоторое время позволили разойтись. Тем пока дело и кончилось. Но у выходов из деревни немцы поставили часовых, чтобы никто не мог уйти из Подолья.

— Это ещё не конец, — говорили мужчины. — Что ж, жена, постарайся, угости получше. Кто знает, когда нам опять придётся вместе сидеть за столом. Только помни одно: что бы ни случилось, никаких просьб! А вы, дети, ведите себя хорошо, если меня не будет.

— Ты думаешь, они могут что-нибудь сде-

лать? Вы же были все дома, они видели вас и всех переписали...

— Поживём — увидим. Ну, накрывай на стол!

Обедали молча и тихо, даже дети сидели смирно, хотя отцы и пробовали шутить. К вечеру, вслед за другими деревнями, дошла очередь до Подолья. На площади остановились грузовики, из которых выскочили сотни немецких солдат; по всей деревне расставили караулы, по переулкам хлестнул яркий свет прожекторов, ударявший в свежесвыбеленные к празднику стены маленьких домиков, врывавшийся в окна и слепивший глаза. Снова все мужчины должны были собраться у сельского правления. Немцы хотели знать, кто из них работал в разрушенной шахте. Таких оказалось шестеро. Немецкие солдаты вломались к ним в дома, перерыли всё сверху донизу. Они взламывали полы, срывали крыши, переворачивали мебель и не оставили нетронутым ничего, так что домики походили на груды развалин. Потом шестерых шахтёров из „Праго II“ посадили на грузовик, и, словно добыча показалась немцам слишком маленькой, они прибавили к ней ещё десятерых мужчин, в том числе и не шахтёров, а просто молодых и здоровых. Арестованные кидали им в лицо „разбойников“ и „негодяев“. Женщины не плакали, по крайней мере на глазах у немцев.

На следующий день полицейские расклеили по деревне приказ. На этот раз приказ был написан понятным чешским языком и смеха ни у кого не вызвал. В приказе говорилось:

„Так как в здешнем округе учащаются деяния, направленные против Германской империи, приказываю с сего числа впредь до отмены:

Запрещается выходить из дома после семи часов вечера. После этого часа все окна и двери в

домах должны быть закрыты. При этом запрещается закрывать ставни или спускать шторы. Запрещается собираться группами более трёх человек.

Хранение оружия или взрывчатых веществ, равно как и простое недонесение об этом преступлении, будет караться расстрелом на месте. Кто сообщит о местонахождении оружия или взрывчатых веществ, будет освобождён от наказания и получит вознаграждение.

Генерал государственной тайной полиции (подпись)“.

К шести немецким полицейским в Подолье прибыло подкрепление — ещё четыре. Патрули были удвоены. Казалось, что маленькая деревня кишмя кишит чёрными мундирами. По вечерам немцы заглядывали в каждое освещённое окно, и люди видели их свирепые или ухмыляющиеся морды. Каждую минуту подоляне чувствовали на себе их отвратительные, сверлящие взгляды. Жили словно в открытых клетках, и некуда было бежать. Противно было есть под этими взглядами, работать, даже просто сидеть и разговаривать. Лучше было не зажигать вечером огня, посидеть немного в сумерках, а когда стемнеет, улечься спать. Но и спать нельзя было как следует. При закрытых окнах было жарко, как в печи; за день солнце нагревало стены, а ночной прохладе запрещалось проникать в накалённую духоту комнат. И каждые несколько минут за окном раздавался тяжёлый топот немецких сапогов, патрули расхаживали вдоль домов, как тюремные надзиратели вдоль камер.

На улице немцы поднимали крик, стоило двум женщинам остановиться на минутку поговорить. Они обсуждали даже, не следует ли разгонять рабочих, когда те рано утром поджидают кучкой автобус. На всякий случай у остановки всегда

стоял часовой. Как-то раз хоронили старуху Зимову из Тыницы. Ей было девяносто два года, она уж много лет не выходила из дома; люди помоложе совсем её не знали. Когда погребальная процессия дошла до Подолья, женщины высунулись из окон: за гробом шёл священник, а за священником еле волочили ноги несколько стариков и старух. Навстречу им из двухэтажного дома, размахивая руками, как гориллы, выбежали немцы и начали ударами разгонять их во все стороны. До кладбища у костёла добрались только священник, возница катафалка и в качестве третьего разрешённого человека мёртвая старуха в гробу.

Только на детей не обращали внимания чёрные мундиры. И дети не обращали на них внимания. Ни на них, ни на их запреты. Они постоянно бегали шумливой стайкой, малыши — под липой или у пруда, старшие — за футбольным мячом, если только они не шатались по полям. Голоса детей были теперь единственным голосом деревни, не решавшейся даже дышать. С некоторым облегчением она вздохнула, лишь когда какими-то путями получила весть об увезённых немцами мужчинах. По слухам, они работали на шахтах где-то в Пруссии. Они были далеко, но по крайней мере живы. Ребята, которые играли на лесной опушке, недалеко от заброшенной подольской шахты, делились сведениями о своих отцах. Они не часто говорили о родителях, когда всё было благополучно, но теперь, когда отцы томились на чужбине, каждый из них превращался в человека замечательного и необыкновенного. Отцы были в руках немцев, то есть стали такими же достойными преклонения людьми, как святые мученики или прославленные разбойники.

— Знаешь, кто сообщил, что их увезли в Пруссию? — спросил Ярку Пепик Соуграда, когда, иг-

рая с остальными в прятки, они вместе притаились за обвалившейся стеной старой шахтной надстройки.

Ярка не знал, но догадка молнией блеснула у него в голове, и он ответил:

— Однорукий.

Пепик не на шутку удивился.

— Так ты, значит, знаешь? Понимаешь, вчера ночью кто-то к нам пришёл и поговорил с матерью в сенях, а она вбежала к нам, как сумасшедшая, и начала нас целовать, а потом я слышал, как она рассказывала бабушке о каком-то одноруком человеке, который принёс вести об отце. Кто он такой?

— Он... — Ярка с минуту помедлил. — Он король Ячменное Зерно. Он появляется, когда что-нибудь должно случиться, помогает тем, кто в нём нуждается, и исчезает снова. Помнишь, как давно-давно, ещё когда крестьяне были крепостные, бедным людям вдруг явился король Ячменное Зерно. Выступил из ячменя, никто не видел как, разогнал панскую челядь, помог беднякам против богатых и опять исчез между колосьями.

Ярка задумался; он вспомнил, как ему последний раз явился однорукий — внезапно вырос между вишнёвыми деревьями, а потом исчез, как будто слился с ними.

— А может быть, он не король Ячменное Зерно, а король Вишнёвый Ствол, потому что он появляется и исчезает среди деревьев.

Ярка поднял голову и бросил взгляд кругом.

— А может быть, он король Поле, король Лес, король Земля. Никогда не знаешь, откуда он перед нами явится и во что снова обратится.

Но тут раздались громкие голоса играющих; и оба мальчика присоединились к шумной стае.

В один прекрасный день Тонда Кубин ждал у околицы Ярку. Вре́мя от времени он ощупывал в кармане какую-то вещь, но не намерен был пока её вытаскивать — сначала надо было похватать перед Яркой. А потом они вместе побегут к опушке, где застанут остальных.

Ярку всегда кто-нибудь ждал, все рады были с ним дружить, быть с Яркой значило быть в самом центре игр и походов. Взрослые, если их спросить, сказали бы, что Ярка Дворжак славный паренёк „и снаружи, и снутри“, и объяснили бы почему. Ярке было семь лет, когда погиб его отец, а через год умерла и мать. Криста вернулась тогда из города, где посещала курсы, и стала шить рубашки для оптовых магазинов и воспитывать братишку. Ей было всего семнадцать, но она как старшая окружала младшего заботой, лаской и внушала ему мудрость, к которой сама ещё искала путь. И Ярка тоже с ранних лет должен был нести подобающую долю ответственности за их общую и за свою обособленную жизнь, и это сызмала развило в нём такие качества, как независимость, бесстрашие и непринуждённость; мальчик получился крепкий „снаружи“ и надёжный „снутри“. В нём явственно проступали уже черты будущего самостоятельного человека; в этом отношении он намного опередил своих сверстников, и в этом был источник его влияния на них. Именно так рассудили бы взрослые, если бы им пришлось говорить о нём.

Мальчуганы же, когда находились в нерешительности и не знали, что предпринять, просто с надеждой смотрели на Ярку. Он никогда не боялся опасности, а если мальчики попадали

в беду, опять-таки лучше всего было держаться за Ярку — уж он найдёт какой-нибудь выход. Если он почему-либо не приходил, товарищи всегда чувствовали, что им чего-то нехватает. И никто не умел так свистать, заложив в рот два пальца. Это был могучий, разбойничий посвист, разносившийся по всем дворам и переулкам, садам и огородам, по всем пригоркам и оврагам за деревней. Заслышав его, любой подольский мальчуган, что бы он ни делал, чем бы ни был занят, бросал всё и спешил на призыв. Этот сигнал означал начало многих славных дел и походов, и тот, кто в них не участвовал, горько жалел потом. И при всём том Ярка вовсе не был примерный мальчик из школьной хрестоматии и уж, конечно, не святой. Ни одна груша на дереве не могла считать себя в безопасности, когда Ярка был поблизости, и точно так же должны были трепетать абрикосы в саду у священника, единственные абрикосы в крае и, между прочим, вовсе не такие уж сладкие. Он был непрочь при случае подраться, здорово, но без злобы, и язык у него был острый, за словом он в карман не лазил. И ещё одно: хотя у него были все данные, чтобы разыгрывать из себя начальника, он всегда держался, как равный среди равных, а лучшего цемента не придумаешь для дружбы. Так или иначе, он был признанным главой подольской молодой дружины.

Тогда Кубин, наконец, дождался Ярку и извлёк свою сенсацию из кармана штанов. Это оказался динамитный патрон. К патрону Тонда добавил пояснение. Он рассказал, как к ним привезли целый груз динамита, как его спрятали за домом и как при этом помогал какой-то человек — помогал только одной рукой, правой, а левой у него не было.

— Ты только болтай поменьше,— прервал его рассказы Ярка, который вряд ли им поверил бы, если бы не случайное упоминание об одноруком. Этот однорукий начал так часто упоминаться в разговорах между мальчуганами, что приходилось принять его на правах тайного члена в свою дружину.— И не рассказывай об этом мальчишам. И вообще никому. Это будет наш секрет.

Десятилетний Тонда был так польщён тем, что у него будет общий секрет с самим Яркой, что тут же подарил ему патрон. А ведь какое восхитительное, щекочущее чувство, когда в кармане, почти соприкасаясь с обнажённым телом, лежит предмет, скрывающий в себе грозную силу, перед которой не устоит и скала! Для шахтёрского ребёнка динамит — вещь, уж не такая незнакомая. Несмотря на все меры строгости и все предупреждения, отец нет-нет да и притащит контрабандой в деревню патрон-другой про запас. Пригодятся осенью, когда надо будет выкорчевать в лесу несколько пней на дрова или наломать для фундамента камень в старой каменоломне. Так дети знакомятся с возможностями динамита задолго до того, как от него будет зависеть их повседневный труд и их хлеб насущный.

— Что-нибудь с этим патроном сделаем, — размышлял вслух Ярка.— Разве сделать подкоп и взорвать неприятельскую крепость?

Приблизительно через час немецкий вахмистр, который, делая обход, оказался за костёлом в поле, услышал издали звук взрыва. Он схватился за бинокль и увидел где-то на опушке леса уже оседающий столб земли и кучку суетящихся вокруг фигурок. Не теряя времени, он бросился туда, но, когда он добрался до места происшествия, детей уже не было. Он нашёл только

невысокую горку, поросшую румянкой, пыреем и несколькими кустами ежевики, — тщетная попытка природы прикрыть наготу бесплодной каменистой почвы. Тут же он увидел свежееобразовавшуюся ямку с разбросанными вокруг камнями и кусками дёрна — ровно столько, сколько нужно было опытному взгляду, чтобы распознать следы, оставленные взрывом динамитного патрона. Он тотчас же мысленно связал разрозненные звенья цепи — деревенские ребята, динамит, взрыв на „Праго II“. И он уже бежал обратно со всей быстротой, с какой ноги в состоянии были нести его раскормленное тело. Пожалуй даже, его несли не столько ноги, сколько охвативший его пыл. Он на пороге великого открытия! Вот он, случай показать во всём блеске свои таланты! Случай, которого он ждал всю жизнь! Во время войны, во время Капповского путча, во время всяческих расправ с коммунистами и социалистами он выслеживал, выискивал, подстерегал противников и инакомыслящих, ловил, хватал, проливал за фюрера чью угодно кровь, и всё же его не признавали годным на большее, чем должность вахмистра гестапо, тогда как другие делали головокружительную карьеру. Всю жизнь он ждал случая, и случай, наконец, представился по игре судьбы в этом чешском захолустье! Теперь он сможет показать себя перед своим начальством и прочно заложить фундамент своей будущности. Дети, динамит, взрыв в шахте! Открытие! Вот он, случай! Согласно уставу, он должен был бы доложить обо всём своему непосредственному начальству в Кладно, а уж оно передаст сообщение дальше. И, как всегда бывает в жизни, начальству достанется львиная доля заслуженной им награды... А что если он допустит ничтожное нарушение порядка, обойдёт ближайшее на-

чальство и сообщит о своём открытии главному начальству в Праге? Чтобы другие не снимали пенки с его сливок и чтобы его заслуги не процеживались через сито? Таковы были мысли, подгонявшие вахмистра Кнальмайера. Добежав до полицейского поста, он стремительно ринулся наверх в свою канцелярию. Обычно он оставался внизу на несколько минут поболтать с Лизой, веснушчатой служанкой Шульце, которая, услышав издали его тяжёлые шаги, выбегала из кухни в полутёмный коридор. Но сегодня он промчался мимо, не подарив ей даже взгляда.

В канцелярии он схватил телефонную трубку и потребовал срочный разговор с Прагой. Пока его соединяли, он непрерывно отирал пот, ручьями ливший с его лица, и старался стащить с плеч рубашку, в которой чувствовал себя, как в котле.

— Я сделал в высшей степени интересное открытие, — доложил он в трубку, — но никак не могу дозвониться в Кладно, а потому разрешите сообщить прямо вам.

Ему разрешили, и он весь побагровел, когда услышал, что в Подолье приедет из Праги сам полковник со своими адъютантами. Он приказал навести порядок в канцелярии, старательно умылся и расставил часовых, в полном боевом вооружении, на дороге и у полицейского поста.

Из Праги приехали два автомобиля. Один — обыкновенная военная машина, в которой сидели молодые, здоровые полицейские. Другой — красивый лимузин, из которого вышли три офицера. Полковник принял рапорт Кнальмайера и поднялся в канцелярию. Он уселся за стол, для двух других офицеров тоже раздобыли стулья, и все трое внимательно выслушали вахмистра.

— Так вы, значит, полагаете, — сделал за него вывод сам полковник, — что где-то здесь хранится динамит и здешние дети, или, по крайней мере, некоторые из них, знают, где он спрятан?

— Так точно, господин полковник!

— Как ваша фамилия, я не расслышал по телефону?

Вахмистр произнёс свою фамилию медленно и внятно, так, чтобы каждый слог мог неизгладимо врезаться в память полковника. Да-да, теперь его карьера обеспечена!

— И вы считаете, что надо выпытать это у детей?

Именно так и считал вахмистр.

— Есть у вас какой-нибудь план, как это сделать?

У вахмистра не было готового плана, потому что хороший подчинённый не должен иметь никаких планов, пока их нет у его начальника, но на вопрос полковника отозвался один из офицеров, костлявый и с такими впалыми щеками, точно лицо его было высушено смертью:

— Дайте мне двух человек и полдюжины палок, и через четверть часа мы будем знать всё.

Полковник обернулся к другому офицеру, красивому молодому человеку.

— А вы как думаете, Гельмут?

— Я думаю, что таким путём действительно можно выведать у детей всё, если только, господин полковник, они что-нибудь знают.

— Вот именно, если они что-нибудь знают, и добавьте ещё: только то, что они знают. Такими методами мы добиваемся от взрослых одного из трёх: они говорят правду; они говорят, что им приходит в голову; они говорят то, что мы им

подсказываем. Но в данном случае мы вовсе не хотим, чтобы дети что-нибудь выдумывали или отвечали по подсказке. Нам нужно, чтобы они сказали правду, то есть где они взяли динамит и у кого он спрятан. Вы правы, лейтенант Гельмут, если они знают мало или ровно ничего, то и мы узнаем не больше. И есть большая опасность, что как раз у тех, кто ничего не знает, при первых же ударах разыграется фантазия, которая нам совершенно не нужна и только наведёт нас на ложный след. Мы только всполошим деревню и окрестные места, и все, у кого хранится что-нибудь подозрительное, спрячут это так, что не найдёшь, словом, мы достигнем как раз обратного результата.

Логика полковника была настолько неоспорима, что и засушенный адъютант тоже вынужден был согласиться:

— Так точно, господин полковник, будет лучше, если мы дознаемся, чего нам надо, без большого шума.

Полковник погрузился в раздумье; офицеры притихли; они знали эти знаменитые минуты раздумья, плодом которых всегда бывала какая-нибудь гениальная идея.

— Школа здесь, конечно, чешская?— поднял голову полковник.

— Никак нет, я своевременно принял меры, школа здесь уже немецкая,— ответил вахмистр.

— О, вот как! А учитель?

— Немец, разумеется, господин полковник.

— Превосходно, вахмистр. Так вот что, пошлите за ним.

Пока один из полицейских ходил за учителем, вахмистр подробно доложил, как он выгнал из деревни еврейского торговца и позаботился о его преемнике, поставив для кандидата два не-

пременных условия — арийская кровь и многодетность. У нового торговца было шестеро детей, а к ним он присчитал восемь душ детей своих подчинённых, хотя они здесь и не жили.

— Таким образом получилось соотношение, при котором мы имели законное право на немецкую школу.

— Вы нравитесь мне всё больше и больше, вахмистр. Не правда ли, прекрасное чувство, когда у вас не только есть сила, но вы ещё можете подкрепить силу правом?

Учитель замешкался лишь на столько, сколько могло быть оправдано пристёгиванием воротничка, завязыванием галстука и дрожью в руках, производивших эти операции. Он прибежал запыхавшийся и взволнованный, безмолвно сделал приветственный жест правой рукой и вытянулся перед пражским начальством с готовностью и страхом. Полковник рассказал ему о сегодняшнем происшествии и добавил, что теперь очередная задача — выяснить у детей, где в деревне спрятан динамит. Лучше всего это может сделать человек, который пользуется доверием детей, то есть господин учитель. Но надо действовать осторожно, чтобы не напугать детей и не возбудить у них подозрений. Незачем особенно спешить, но пусть он призовет на помощь всю свою ловкость и весь свой многолетний опыт общения с детьми. Это нужно для империи и фюрера, и если возраст не позволяет господину учителю доказать свою преданность на поле брани, то сейчас ему представляется прекрасный случай в привычной для него обстановке послужить немецкому делу. Ибо благодаря ему будет обезврежен преступник, скрывающий динамит, и его сообщники, во всём округе настанет полное спокойствие, и Кладно сможет продолжать работу, столь необходимую

для немецкой армии, которой предстоит вскоре решать судьбу народов.

В душе учителя боролись страх и гордость. Гордость — потому что облечённые доверием фюрера особы возлагают на него столь высокую миссию. Страх — потому что он не знал, как такие вещи делаются, и не мог припомнить, чтобы ему приходилось читать о них в каком-нибудь „хандбухе“ или учёной монографии. Так или иначе, он заявил, что приложит все силы и постарается выполнить свой долг. Оба младших офицера, в особенности один из них, стройный и красивый, дали ему несколько ценных указаний. Господин учитель за время своего пребывания здесь наверное ознакомился с расслоением местного населения по его достатку и по роду занятий. Если существуют какие-нибудь политические или сословные раздоры между взрослыми, то они, бесспорно, сказываются и в отношениях между детьми; ребёнок из одного лагеря без особых угрызений совести донесёт на мальчугана, родители которого принадлежат к другому. В чешских деревнях, где половина жителей рабочие, а другая половина крестьяне, подобных распрей хоть отбавляй. И как во всякой деревне, здесь есть, конечно, и вражда между отдельными семействами, и дети вполне естественно наследуют ненависть, обуревающую взрослых. Во всём этом нетрудно разобраться, и тогда легко найти прекраснейший подход к детям.

Весь разговор вёлся тихо и спокойно; собеседники старались деловито разрешить проблему на основе данных опыта и своей профессиональной техники. Так совещаются врачи перед операцией, военачальники перед манёврами, землемеры перед прокладкой трассы; задачи чисто деловые, и действовать надо бесстрашно,

руководствуясь только соображениями целесообразности. Вся разница лишь в том, что операция на этот раз должна быть проделана над детьми, а трасса должна быть проложена к их лучшим качествам, к их простоте, общительности, доверчивости, к их невинности, чтобы мстительные руки могли захватить тех, кто этим самым детям ближе и нужнее всех.

На площади под липой дети кричали, как всегда, когда гонялись за мячом. А здесь в канцелярии взрослые мужчины хотели превратить эти ликующие голоса в голос свидетелей обвинения, посылающий родителей на смерть. Тут и там мальчики, подбежав к забору, звали: „Пепик! Франтик! Тоник!“ — повышая и растягивая последний слог, как делают всегда, когда кричат вдаль, как трубит рожок горниста, который хочет, чтобы его слышали повсюду. И, может быть, именно эти весёлые уста будут принуждены обронить слова, произносящие приговор над отцом. Где-то мальчик колот для матери лучину, где-то другой рвал за домиком траву для козы, третий только что вычистил крольчатник и, просунув палец меж прутьев клетки, щекотал отчаянно дёргающего носом кролика, а вот ребята уже избавились от всех хозяйственных повинностей и вприпрыжку неслись по переулку. Дети прикасались к жизни послушными и доверчивыми руками, она ещё была мягка и вкусна для них, как только что испеченный пирог, и они доверчиво и беззаботно отламывали от неё свой кусок. А в это время наверху, откуда всё было видно, опытные и вышколенные люди чеканили, уточняли и оттачивали слова, а потом складывали их в предложения, где первым было слово дети, а последним — отцеубийство.

Наконец полковник счёл, что всё необходимое

уже сказано. А если у господина учителя возникнут какие-нибудь затруднения, пусть обратится к вахмистру Кнальмайеру, который пользуется полным доверием высшего начальства и в находчивости которого полковник имел случай убедиться. Да и учитель понял, что от него требуется, и полковник не сомневается, что он выполнит свой долг. После этого прозвучало несколько раз „хейль Гитлер!“, учитель покинул канцелярию, полковник с офицерами уехал в Прагу, часовые вернулись со своих постов, и вахмистр улёгся на койку отдохнуть от тревожных счастливейшего дня своей жизни.

Между тем учитель не стал умнее от преподанных ему советов. Легко сказать — политические, сословные и семейные раздоры! Но откуда ему было знать о них? Странное у них представление о возможностях учителя! У него был только один способ раздобыть у детей сведения — это задавать вопросы. Но вопросы надо было хорошо обдумать. И учитель до поздней ночи ходил из угла в угол, стараясь сочинить вопросы похитрее. И уже лёжа в постели, он так долго мучился над одной из своих выдумок, что не заметил, как бесплодную пустоту его фантазии заполнил сон. Зато утром ему пришла в голову спасительная мысль: дело надо отложить. И правда, ведь в школу ходили только малыши, от них мудрено было чего-нибудь добиться. И учитель обратился к вахмистру с просьбой, чтобы тот, через посредство старосты, вновь нагнал на родителей страх перед штрафами, так как, пока в классе не появятся дети постарше, сделать ничего нельзя. Полученной отсрочкой учитель воспользовался для новых усиленных размышлений, но и в этот вечер был такой же неурожай на хитрые вопросы, как и накануне. В конце концов учитель вытащил из чемодана

„Орлеанскую деву“ Шиллера, чтобы освежить усталую голову образами и мыслями великого классика.

И на завтра он начал сыск способом, простейшим из простых. Среди других вопросов, которые сотнями задаёт всякий учитель, он спросил мимоходом, знает ли кто-нибудь, что такое динамит. Старшие ребята мигом наострили уши и переглянулись. Вчера за пригорком они опять взорвали два бугра; учитель, видимо, что-то пронюхал. С минуту никто не отвечал, потом Винцек Рыдль, великий мастер на ловкие ответы, объявил, что динамит — это большущая машина, которая вырабатывает электричество. Учитель не заметил, что мальчики дрыгают под партами ногами и еле подавляют смех, и в течение добрых десяти минут подробно толковал об электричестве, пока ему удалось в конечном счёте объяснить, что он спрашивал не о динамо, а о динамите. Так вот, знает ли кто-нибудь о динамите?

На этот раз руку поднял Ярка.

— Динамит — это очень сильное взрывчатое вещество.

— Очень хорошо. А ты знаешь, как с ним надо обращаться?

— Знаю. Отец мне много раз рассказывал. Он ведь каждый день имел дело с динамитом.

— Вот как? А где сейчас твой отец?

— Мой отец погиб в шахте. От преждевременного взрыва динамитного запала.

Учитель поморгал и протёр очки. Неожиданное вторжение повседневной трагики шахтёрской жизни отбило у него охоту к дальнейшим вопросам, по крайней мере на сегодня. Он откашлялся и начал объяснять, что такие вещи, как динамит, вовсе не игрушка, и счастлив тот, кто может сохранить себя целым и невредимым.

Было ясно, что учитель что-то знает. И Ярка прекратил все игры с динамитом, хотя они были полны захватывающего интереса. А Тонда Кубин, который так гордился своими патронами, с огорчением узнал, что должен оставить родительский динамит в покое, так как о динамите не полагалось слышать даже прежним чешским полицейским, а немцам и подавно.

Ну что ж! Дни стояли жаркие, и солнце прогревало воду в речке. Можно было ждать, что вскоре притоки высохнут, а речка обмелеет. Много будет тогда всяческих забав, подумать только — тёплая вода, скользкие камни и берег, пахнувший богородицыной травкой! Уже сегодня, после школы, с десятков голых мальчуганов пробрались вброд к маленькому полуострову, построили из дёрна разбойничью крепость, и засевшие в ней пираты делали набеги на врагов, грабили, брали в плен, а если сталкивались с превосходными силами, то, не вступая в открытый бой, ставили всякие препятствия свободному мореплаванию.

А учитель отправился вечером к вахмистру. Он хотел пожаловаться на непредвиденные трудности разведки и надеялся получить дружеский совет. Но вахмистр принял его, лёжа в одних штанах на койке; пожёвывая кончик папиросы, он небрежно выслушал его жалобы и даже не предложил взять из канцелярии стул; почтенный соотечественник должен был стоять перед ним, как проситель. Манерой говорить он явно подражал полковнику, только начальственная небрежность переходила у него в нарочитую грубость. Да, да, господин учитель, служить империи и фюреру не так легко. Для этого надо быть мужчиной. И к чему, спрашивается, учитель тратил время на всякие науки, если он не может выпол-

нить теперь такое простое поручение? Если его учёности нехватает на то, чтобы выведать у пострелят, где папа прячет дома динамит, то вся эта учёность нужна ему, как собаке пятая нога. Вахмистр даже не потрудился повернуться к гостю и смотрел всё время в потолок. Этот умник всегда хорохорился перед ним и говорил на интеллигентнейшем немецком языке, чтобы показать своё превосходство, так пусть почувствует теперь, пусть насладится изысканностью и звучностью баварской речи. Пусть постоит навтыжку, пусть знает, что он стоит перед солдатом, который проливал и всегда рад пролить за фюрера чью бы то ни было кровь!

— Да, любезнейший господин учитель, я не получил никакого образования, свой чин я выслужил двадцатью годами тяжёлой службы, и тем не менее я всегда сумею поймать недоброжелателей нашего фюрера, выследить их и уничтожить. Господин учитель может думать обо мне, что угодно, но империя и начальство воздают каждому по заслугам. Если господин учитель знает своё ремесло и может что-нибудь придумать,— хорошо, а если нет, если ему не под силу тягаться с босоногими деревенскими мальчишками, пусть лучше ищет себе что-нибудь другое.

Учителя кидало в жар и холод, но от этого бесформенного тела, развалившегося на матраце, казалось, пышет такой животной силой, что он не находил ответа ни на словах, ни в мыслях. Он чувствовал глубокое унижение, ибо всю жизнь в нём жила уверенность, никем ни разу не поколебленная, что над его очками сияет ореол учёности. Но что толку, что может сделать дух против этой громады мяса и этого трескучего голоса? Он жалко переминался с ноги на ногу, пока ноги сами не понесли его к выходу. Вах-

мистр дал ему дойти до самых дверей и только тогда милостиво остановил его.

— Эй, погодите! И необразованным людям приходят иногда в голову хорошие мысли. Нет ли на школьном дворе каких-нибудь старых деревьев? Скажите детям, что хотите избавиться от них, и лучше всего было бы заложить под корни динамитные патроны. Кто принесёт динамит, получит десять корон. За десять корон мальчишки пойдут на всё. А потом, взрывать деревья — чем не развлечение?

Лицо учителя прояснилось. Совет был действительно прекрасный. Он забыл всё и рассыпался в благодарности. Теперь он мог выполнить свой долг. Он радостно шагал домой. Нет, что ни говорите, это — мысль! И как просто! Какая сметка у немецкого народа!

В этот вечер ему не надо было ломать голову над разрешением задачи. Он нагнулся над чемоданом с книгами и вытащил объёмистый том с именем Гёте на корешке. Можно будет спокойно почитать. За распахнутым окном, сквозь которое видна была часть деревни — белые стены домиков, над ними тёмные контуры ветвей, а ещё выше бездонная, прозрачная глубина облитого лунным светом неба, слышались тяжёлые шаги патрулировавших немецких полицейских. Учитель раскрыл книгу и прочёл: „Горные вершины спят во тьме ночной...“

Назавтра класс опять был переполнен, так как штраф есть штраф и деньги достаются нелегко. Пришёл учитель, пришли шесть шульцевых потомков, прокричали „хейль Гитлер!“ — и можно было начинать урок.

Учитель говорил о том, о сём, перемежая не-

мецкую речь слабыми потугами на чешские фразы. Это означало, что он намерен перейти к предмету, на который хочет обратить внимание всех своих учеников. И в самом деле, после некоторой подготовки, он сказал:

— Я осматривал сегодня сад и нашёл там три дерева, которые совсем состарились и не дают больше плодов. Что нужно сделать с деревом, когда оно не приносит больше пользы человеку?

Так как никто не поднял руку, учитель продолжал:

— Такое дерево надо вырвать с корнем, почву разрыхлить и посадить вместо него новое, которое будет приносить нам пользу.

Он был очень доволен тем, как легко и просто у него всё получается, и готовился уже перейти к динамиту, как вдруг с задних скамей, где сидели мальчики и девочки постарше, разом поднялось несколько рук.

— А я бы оставил дерево расти, господин учитель. Ведь жалко же, оно живёт.

— Господин учитель, у нас в саду есть старая яблоня, она по три-четыре года даже не цветёт, и вдруг распустится, вся зацветёт, и тогда нет яблок лучше ни у кого в Подолье.

Встал ещё один мальчик.

— А кроме того, дерево служит памятью о том, кто его сажал. У нас в саду есть деревья, которые посадил дедушка нашей мамы, когда её ещё не было на свете.

Вслед за ним встал другой, и едва он начал, как весь класс затих, слова его звучали, как над толпою в костёле или как среди распаханного поля, где голос разносится над бороздами и межами.

— Мой отец говорит — пусть старое дерево живёт, сколько хватит его дряхлых сил, и надо его

беречь за то, что всю свою жизнь оно давало нам плоды. Оно — как старый человек, который достаточно наработался за долгие годы и заслужил, чтобы ему позволили дожить свои дни в покое.

Мальчик сел, но в классе попрежнему было тихо. Молчал и учитель, каждое слово падало на него, как камень. Если вначале дети хотели просто досадить немецкому учителю и продолжали свою обычную игру, состоявшую в том, чтобы „сажать немца в лужу“, то кончилось это присягой духу предков — мудрости, выстраданной и освящённой опытом многих поколений, славословием духу родной деревни, в которой спокойно доживают свой век столько старых деревьев и столько старых людей. В классе всё ещё стояла торжественная тишина, словно был произнесён приговор, бесповоротно решающее слово, и на учителя это произвело такое впечатление, что он сделал нечто совершенно неожиданное. Он встал и вышел.

Он быстрыми шагами пересёк площадь и вошёл в трактир. Там он потребовал кружку пива, потом ещё одну. Трактирщик молча подал ему пиво, неразговорчивый, как всегда, когда ему приходилось обслуживать немцев. Вахмистр уже не раз грозил, что выпишет сюда более общительного трактирщика. Немца. И с большой семьёй. Но учитель сейчас не нуждался в собеседнике, ему было о чём поговорить с самим собой. Так вот оно как обернулось! Старое дерево, которое нужно вырвать с корнем? Он вздумал поучать этих деревенских ребятишек, а вместо того сам получил от них урок. Они, оказывается, знали больше. Знали, что на свете есть ещё кое-что, кроме желудка, есть ценности выше, чем выгода и польза; когда-то он и сам держался такого убеждения, и не надо было отказываться от него в погоне

за случайными благами! Ну, вот он и получил по заслугам, дети дали ему урок. Он выпил третью кружку пива. Старое дерево вон! Не произнёс ли он приговор над самим собой? Разве он не такое же старое дерево, которое не даёт плодов вахмистру, думающему только о карьере? Ну, и значит, его вырвут с корнем и вышвырнут вон. Он уж не молоденький, пора подумать о своём возрасте, скоро он будет нуждаться в сострадании, а может быть, и в милосердии. Найдёт ли он их? Что сделает с ним вахмистр и прочее начальство, когда увидят, что он ни на что не годен и может лишь взывать к их милосердию? А здесь эти люди берегут старые деревья, заботятся, чтобы у стариков была спокойная старость за то, что они работали всю жизнь. Он хотел заманить чешских детей в ловушку, а они ответили ему словами такой прозрачной, благородной мудрости. Учитель пил неизвестно которую по счёту кружку. А как с ним разговаривал вчера вахмистр! Мужик, стоящий на самой нижней ступени, обращается с немецким учителем, как с собакой! Да, как с собакой! Господин вахмистр, я двадцать лет, вместе со всеми немцами в Судетах, томился под владычеством чехов. Но за все эти двадцать лет никто не говорил со мной невежливо, и высшие, и низшие чиновники относились со всяческим почтением к моей должности и моей работе, и каждый чешский полицейский уважал во мне образованного человека и при встрече всегда здоровался первый. Двадцать лет я мог свободно преподавать на немецком языке и ни разу ни от кого из чехов не слышал никаких упрёков. А теперь вы, вахмистр, один из тех, кого я пятнадцатого марта приветствовал в Сушице на площади торжественной речью, как освободителей угнетённой ветви не-

мецкого народа, вы обращаетесь со старым, заслуженным учителем-немцем, как с собакой! Как с негодным старым псом! Ну, так я вам выскажу своё мнение, господин вахмистр.

Трактирщик не мог разобрать, что бормотал себе под нос учитель. Он только видел, как тот, выйдя из трактира, зашагал к полицейскому посту и по дороге рванул на шее воротничок и галстук, словно они его душили.

Вахмистр сидел за столом и писал. Учитель вошёл, пошатываясь, и не провозгласил „хейль Гитлер!“ — но лишь с трудом придвинул стул и уселся против вахмистра. Он говорил слегка заплетающимся языком, но смысл его слов был вполне понятен. Ему, старому немецкому учителю, пришлось выслушать от чешских детей поучение о том, как подобает и как не подобает вести себя цивилизованному человеку. Он ничего не в состоянии выпытать у этих детей и больше пробовать не будет, ведь он учитель, а неследователь. Вахмистр посмотрел на него, прищурившись, как бы желая сказать, что от этого умника давно уже надо было ждать чего-нибудь в этом роде.

— Так, так, господин учитель, выкладываете всё, продолжайте ваши изменнические речи!

— Тут нет никакой измены, господин вахмистр, я люблю немецкий народ и именно потому не хочу попасть в унижительное положение. Я избрал возвышенное призвание педагога, я следовал всегда заветам Канта и Гёте, я горжусь своим призванием, и я считаю, что немецкий народ и его фюрер не могут желать, чтобы немецкий учитель выступал перед детьми чужой национальности в роли дурака и грубого невежды. Сыщика из меня не выйдет, так и передайте.

Он с трудом договорил последние слова, облокотился о стол и опустил голову на руки.

«Ожно было подумать, что он плачет. Но он просто спал. Вахмистр дёрнул его за плечо, он соскользнул со стула на пол и растянулся во весь рост. Вахмистр телефонировал в Прагу.

Когда приехали пражские автомобили, учитель ещё спал. Вахмистр более или менее точно передал полковнику всё, что говорил учитель; только имена Канта и Гёте, на которых ссылался учитель, не удержались в его памяти, но он вышел из затруднения, коротко обозначив их, как „какие-то еврейские имена“. В заключение он сказал, что позволил себе телефонировать непосредственно господину полковнику, так как знал, что господин полковник интересуется здешними делами.

— И отлично сделали, Кнальмайер! Раз и навсегда разрешаю вам звонить прямо мне.

Полковник помнил его фамилию,— нет, вы подумайте!

Полковник, между тем, поглядел на распростёртое тело.

— Это просто не укладывается у меня в голове! Я никогда не думал, что среди немцев существуют такие выродки.

— Их не так много, господин полковник,— заметил костлявый лейтенант.— Пред нами экземпляр почти вымершего ископаемого. Кучка господ этого сорта отлично уместится в пределах одного концлагеря, а через год для них потребуются ещё меньше места. На земле останутся немцы только нашего склада.

Лейтенант Гельмут тоже позволил себе сделать замечание.

— Надо иметь в виду, что этот господин прожил двадцать лет в Чехословакии. Трудно прожить здесь столько лет и не надышаться здешним воздухом.

Полковник с улыбкой посмотрел на Гельмута,

От молодого человека веяло такой свежестью, что только смотреть на него — и то было приятно.

— Но ведь вы тоже жили в этой стране, Гельмут. Вы даже здесь родились. Так не хотите же вы сказать, что тоже набрались здешнего духа?

— Я с детских лет служил фюреру и боролся против этого духа, — ответил лейтенант и с гордостью коснулся почётного кинжала, висевшего у него на боку. — Я заколол первого коммуниста, когда мне ещё не было четырнадцати лет.

Полковник с довольным видом кивнул головой и велел разбудить учителя, что вахмистр исполнил, ткнув спящего сапогом в рёбра. Учитель открыл глаза, но не сразу мог сообразить, где он; потом он увидел офицеров и разом протрезвел.

Хотя он не мог дословно повторить всё, что он наговорил вахмистру, но смысл своих речей он помнил, и по суровым лицам офицеров он видел, что они тоже знают всё.

— Я выпил лишнее, а я к этому не привык, — сказал он извиняющимся тоном. — Боюсь, что я наболтал господину вахмистру всякой чепухи. Бессмысленной чепухи, — прибавил он, нерешительно оглянувшись по сторонам и улыбнулся, словно его улыбка могла ослабить значение этой чепухи.

Полковник даже не взглянул на него. Он сел за стол, что-то написал и протянул листок бумаги вахмистру.

— Пусть его отведут в школу и дадут собрать вещи. Потом раздобудьте где-нибудь машину, и пусть ваши люди отвезут его в Кладно. Отрядите с ним сейчас же двух конвойных, пусть не спускают с него глаз и следят, чтобы он ни с кем не говорил ни слова.

Дети с любопытством наблюдали, как двое

вооружённых полицейских повели немецкого учителя к школе и просмотрели все вещи, которые он побросал наспех в маленький чемоданчик, как затем подъехали другие на старом автомобиле пана Барты и как учителя увезли. Всё время при нём безотлучно находились двое конвойных — один справа, другой слева. В нём ничего не осталось от прежней важности. Воротничок был расстёгнут, галстук съехал куда-то набок, весь он был какой-то грязный и растрёпанный, шляпы на нём не было, и жиденькие пряди волос, которыми прежде он так старательно прикрывал лысину, висели бахромой. Вид у него был растряпанный и жалкий. И мальчишки, повинувшись какому-то внезапному порыву, точно по команде поднесли пальцы к козырькам. Они не знали, что сделал учитель, но если немцы так с ним обращаются, значит, это не было что-нибудь плохое. И они поклонились ему в первый и последний раз.

Полковник видел эту демонстрацию из окна.

— Надо найти кого-нибудь, кто выведает у детей, что нужно,— сказал он.

Костлявый лейтенант предложил то, что уже предлагал однажды.

— Двое человек и полдюжины палок.

— Я не возражаю, но только в том случае, если мы не добьёмся своего без шума. Надо нанести удар молниеносно, захватить всё их разбойничье гнездо и уничтожить виновников преступления. Самое главное — не тыкать руками во все стороны, чтобы у побеждённых ни на миг не возникало впечатление, будто мы действуем не так, как подобает всемогущему и всеведущему божееству.— Полковник обернулся к молодому офицеру.— А вы как думаете, Гельмут? Нельзя ли найти какого-нибудь чешского учителя, пости-

гающего всё величие идеи фюрера? Или такого, который согласился бы помочь нам за хорошее вознаграждение?

Гельмут отрицательно покачал головой.

— Нет, господин полковник, никак нельзя. Я живу среди этих людей всю жизнь и знаю их хорошо.

— Но что-то надо сделать. Мы прошпиговали весь округ полицейскими, и тем не менее позавчера сгорел склад леса — и какого леса! Ореховое дерево — лучшее для прикладов. Хватило бы на пятьдесят тысяч автоматов! Мне жаль расстаться со своей мыслью, но если не останется ничего другого, придётся пустить в ход палки.

— Если бы вы разрешили, господин полковник, — предложил молодой офицер, — я бы попробовал сделать дело сам. Я приеду сюда в качестве нового учителя и думаю, что сумею сыграть эту роль, хотя всю жизнь только и делал, что увиливал от учителей. Выдавать себя за чеха я, конечно, не могу; я, правда, в совершенстве владею чешским языком, но всегда можно споткнуться на каких-нибудь особенностях речи. Во всяком случае я найду способ поладить с этой мальчишечьей бандой и обведу их вокруг пальца.

Ну, как было не любоваться этим юношей! Какой великолепной стала немецкая молодёжь! Какая ясность мысли и быстрота решений!

— Разрешаю, — изрёк полковник. — Я отпущу вас, хотя и буду чувствовать ваше отсутствие. Сколько вам потребуется на это дело времени?

— Недели три-четыре. Но зато я разузнаю все подробности.

— Отлично. Нужна вам помощь?

— Пока не знаю. Вот разве ослабить здесь меры охраны. Отменить наиболее строгие запреты, сократить число часовых и патрулей, — пусть

люди думают, что они больше не находятся под подозрением.

— Я распоряжусь. А вообще вахмистр будет подчиняться здесь вашим приказаниям.

Вахмистр щёлкнул каблуками. Каблуки обещали повиновение дисциплине, но в душе вахмистр был сильно раздосадован тем, что утрачивает своё первенство в деревне; до сих пор он правил тут единодержавно, а теперь будет подчинён какому-то молокососу. Значит, опять заслуженную им награду подцепит кто-то другой? При старом учителе хозяином положения был он, вахмистр, и можно было направлять события в ту сторону, где его ждала бóльшая выгода,— да, не надо было так спешить и тотчас доносить о старом дураке! В другой раз наука — не горячись, Кнальмайер!.. Сдвинутые каблуки и напряжённая поза — он стоял, опустив руки по швам, и старательно втягивал в брюки объёмистый живот, — ничем не выдавали кипевшую в нём злость.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стоял один из тех жарких, солнечных дней, когда так приятно сидеть на грубо сколоченной скамье в прохладном старом амбаре и слушать Кристу, читающую вслух из интересной книжки, а ещё приятней бегать за гумном или полоскаться в речке, если только мать не запрягла по хозяйству. К деревне на старом мотоцикле подъехал молодой человек в зелёной куртке и спортивной клетчатой рубашке. У околицы он встретил маленькую девочку, ещё явно не доросшую до высокого звания школьницы, но так или иначе это было единственное существо, у которого он мог осведомиться, где здесь школа. Девчурка пы-

жилась и старалась объяснить: „Налево, потом направо, потом налево“, — пока молодой человек её не перебил:

— Постой, паненка, так я заблужусь, а лучше я тебя посажу в коляску, и ты сама покажешь мне дорогу.

И он посадил её рядом с чемоданом и поехал дальше, а пассажирка с великой радостью указывала ему путь. Так въехал в Подолье новый немецкий учитель, и девочка в коляске сослужила ему немалую службу в глазах женщин, наблюдавших эту картину. Приезжий посетил священника и старосту; к вахмистру он тоже зашёл, но побыл у него всего минуту. И деревня рассудила, что он, должно быть, приличный человек, но что в том толку, если он немец и школа отнята у чешских детей. Новый учитель сам заговорил об этом с Беликом и старался доказать, что он тут не при чём, он, как и все, связан существующими правилами. Впрочем, он хотел бы только немного ознакомить детей с немецким языком, — это ведь мировой язык, а все предметы намерен преподавать на чешском. Он просил при этом, чтобы дети регулярно ходили в школу, так как он обязан представлять ведомости о посещаемости школы с приложением поименных списков. После этой беседы староста тоже говорил, что новый учитель принадлежит к очень редкому сорту немцев, но своё суждение о нём сопровождал напоминанием, что дети не должны пропускать уроки, не то опять ждите штрафов.

На следующий день учитель, сидя на возвышении за кафедрой, оглядывал своих учеников. Класс был переполнен, на парте, где еле можно поместиться троим, теснились пятеро, а то и шестеро ребят; направо сидели девочки, налево, у окон, мальчики. Малыши впереди громоздились

друг на друга, как цыплята в корзине у торговки, старшие смотрели на учителя с задних скамей. Да, с этими вот, что на последних партах, и придётся ему иметь дело. Он переводил взгляд с одного лица на другое, задерживаясь на каждом на дробную долю секунды. Но ему ничего не удалось на них прочесть. Ненависть? Нет. Может быть, естественное любопытство? Тоже нет. Никакого интереса, ничего. Ещё меньше, чем простое равнодушие, словно они смотрели на него, но его не видели. Ладно, погодите, придёт день, я ещё вам себя покажу! Спрашивается, кто глава этой мальчишеской шайки? Пожалуй, тот чистенько одетый мальчик с прямым и уверенным взглядом,—правильно, это был Рыдль,—или вон тот, большой, черноволосый, с густыми тёмными бровями, почти подросток,—учитель смотрел на сына кузнеца Иенду. Но когда смётр подходил к концу, учитель вдруг почувствовал, что до сих пор он ошибался; он увидел ещё по-детски румяные щёки, копну растрёпанных русых волос и глаза, которые смотрели на него совершенно равнодушно, но в складке рта, в плотно сжатых губах он читал, что мальчик знает, чего хочет, и уже решил, как отнестись к учителю. Он заглянул в список — оказалось, что мальчика зовут Ярослав Дворжак. Надо будет выяснить, кто его родные.

Он заговорил по-чешски, к великому изумлению шульцевых детей. Если бы он сам не сказал, что он немец, дети не догадались бы, так хорошо учитель говорил по-чешски. Даже слишком хорошо. Его слова звучали, словно он не говорил, а читал по хрестоматии.

— Моя фамилия Гельмут. Меня прислали, чтобы я вас обучал школьным предметам. Я слышал, что вы с моим предшественником не ладили и неохотно посещали школу. Я постараюсь,

чтобы теперь было иначе. Мы будем с вами учиться, на то у нас и школа, но на свете есть ещё другие вещи, которые стоит знать и о которых в школьных учебниках ничего не говорится. Этим вещам мы с вами тоже будем учиться. Например, спорту, который делает человека мужественным и здоровым, что не менее важно, чем уметь писать и считать. А если мы должны учиться по-немецки, то подумайте, ребята, и скажите сами, что здесь плохого? Я, например, довольно хорошо знаю чешский и очень рад этому. Научусь ещё немного от вас, и в конце концов и вы, и я будем владеть обоими языками, и всё будет в порядке.

Учитель подошёл к доске, взял кусок мела, нарисовал одним росчерком птицу и спросил, кто знает, как называется нарисованное по-немецки. Потом нарисовал цветок, лягушку, дом, лошадь, всё — одним росчерком, и, не отходя от доски, посадил птицу в клетку, лягушку на камень, вставил лошади дымящуюся трубку в зубы, а к дому подъехал воз с сеном. Всё это было очень смешно; правда, пока на вопросы учителя отозвались только шульцевы дети, но и прочие ученики тоже были заинтересованы. Лишь мальчики на задних партах честно выдержали характер и до самого конца не проявляли никакого интереса. Впрочем, и у них он сумел снискать некоторое благоволение тем, что весьма благо-разумно сократил урок и отпустил всех по домам значительно раньше обычного часа.

В ближайшие дни в Подолье произошли большие перемены. Уехали почти все немецкие полицейские, остались только вахмистр и двое его подчинённых. Староста получил уведомление, что вновь разрешается открывать и закрывать окна когда угодно, и по деревне перестали расхаживать

надоедливые патрули. Конечно, нельзя было сказать, что Подолье вернулось к прежней жизни, ни одному человеку в захваченной врагом стране не жилось и не дышалось так, как прежде. А Подолье к тому же недосчитывало пятнадцати мужчин, увезённых в Германию, и это было, как незаживающая рана. Но всё же посудите сами: в один прекрасный день на тыницкой дороге, той самой, по которой везли недавно старуху Зимову, показалась повивальная бабка с ребёнком на руках; она несла его в костёл крестить; ребёнок был прикрыт тёмнокрасным бархатным одеялом, а разряженная толстая бабка выступала торжественно и важно, словно первосвященник, несущий жертву в храм; но, вопреки обычаю, не было ни единого человека из родни; рядом с бабкой шла только кума, ибо, как известно, не разрешалось собираться группами больше трёх человек, а их было уже трое — бабка, кума и сам новорождённый. Правда, нужна ещё одна кума, но за неё сойдёт жена сторожа при костёле. Когда подоляне увидели бабку, женщины выбежали из домов и стали расспрашивать её, чей это ребёнок и как себя чувствует мать, а когда они увидели, что полицейские не обращают на них внимания и не собираются их разгонять, они двинулись провожать её к костёлу. Образовалось огромное шествие, едва ли какой-нибудь новорождённый мог похвастать, что его так пышно провожали на крестины.

Подоляне как бы спешили глотнуть капельку вольного воздуха, пользуясь тем, что пальцы, сжимавшие их горло, немного ослабели. Оставшиеся в деревне трое полицейских жили теперь, как на даче. По вечерам они выносили стулья на улицу возле дома, с удобством рассаживались, и тот или другой из подчинённых вахмистра

отправлялся с большим кувшином в трактир за пивом. У самого вахмистра не было теперь другого дела, как заигрывать со служанкой Шульце Лизой, которая всегда вертелась где-нибудь поблизости. Она вплетала теперь в свои косицы пёстрые ленточки. Косицы были у неё бесцветные и тоненькие, как телячий хвостик.

Дождаться от новых властителей каких-нибудь послаблений было делом совершенно необычным, и эти облегчения встречались с явным недоверием. В чём здесь дело? — спрашивали друг друга соседи, когда сходились вместе, а сходились они теперь немного чаще. И почему из всего Кладненского округа строгости смягчены лишь в четырёх-пяти деревнях? Не кроется ли тут какая-нибудь чертовщина? Разве можно ждать чего другого от немцев? В Винарицах, в Пхерах, в Меминках и в Кновизе тоже хватало шахтёров, а теперь вдруг немцы щедро рассыпают милости. На одно из таких сборищ наткнулся Ярка, возвращаясь как-то под вечер домой. Дверь была заперта на ключ, чего у них отродясь не бывало, даже когда никого не оставалось дома. Криста отперла ему и остановилась в дверях, словно хотела преградить дорогу; но Ярка уже проскользнул в сени. В комнате он увидел несколько мужчин — кузнеца, старика Кубина, кое-кого из молодых рабочих и, к своему удивлению, однорукого, который сидел во главе стола. Он был в кожаной плоской фуражке и кожаном пальто, какие носят шофёры. Ярка с почтительным любопытством вытаращил на него глаза, но тут Криста сказала ему, чтобы он шёл к Кубиным, у тётки сегодня именины, и для него там тоже найдётся угощение. Ярка пошёл. Но однорукий не выходил у него из головы. Как странно, что он всегда одет по-разному; он, должно быть, важная особа — в тех

делах, что затеваются сейчас против немцев. Думая о нём, Ярка облекал свои мысли в слова, которые произносятся далеко не каждый день, такие, как свобода, право, спасение, народ, борьба. И однорукий вошёл в его мысли в одном строю с этими редкими словами.

Ярка направился к Кубиным не прямым путём, но через площадь, чтобы взглянуть, есть ли свет в окнах у полицейских и учителя. Вернувшись из гостей домой, он сказал сестре:

— Немцы сидели вечером дома, я смотрел, когда шёл к тёте.

Криста улыбнулась.

— Ты хитрый парень, только мы тоже это знали. Впрочем, мы собрались чисто случайно.

Мальчик медленно разделся и, уже лежа в постели, спросил:

— Криста, кто этот однорукий?

— Это один мой знакомый. Я познакомилась с ним, когда училась на курсах. Иногда он вспоминает обо мне и заходит проведать.

— А где он потерял руку?

— Сама не знаю. Неприятно расспрашивать об этом. — Она немного помолчала, затем сказала внушительно и серьёзно: — Слушай, Ярка, ты о нём, об этом одноруком, никому не говори ни слова.

— Я знаю, — буркнул Ярка и отдался потоку мыслей, нить которых можно сначала направить, куда хочется, но чем дальше, тем больше они от вас ускользают, пока не вырвутся совсем из вашей власти, и тогда сон начинает ткать из них узоры по своему неисповедимому капризу. Ярка представлял, как однорукий невидимкой пробирается среди немцев, он здесь, он там, он всюду, где может нанести им удар или отразить их удары. И всё только одной рукой. Немцы ищут его,

но тщетно. Он появляется всегда в самом обыкновенном, простом костюме, он одет то как рабочий, то как городской чиновник, то как шофёр, а иногда как почтальон или как охотник, в зелёной куртке и маленькой шапочке с пером, или весь в чёрном и в треугольной шляпе, как король Ячменное Зерно в сказках, или стоит, закутавшись в красный плащ и надвинув на лоб широкополую шляпу, как несущий освобождение мститель... В этом именно наряде и перешёл однорукий в Яркин сон.

Дня через три учитель задержал старших мальчиков после уроков и предложил им устроить состязания на школьном дворе.

— Отчего бы нам не поупражняться в борьбе и в боксе? Кто из вас самый сильный? И самый храбрый?

Все взоры обратились на Ярку. Учитель тоже думал, что он выступит вперёд, как следовало ждать, если он действительно главарь этих мальчишек. Но Ярка равнодушно стоял на месте, а вместо него вышел Ян Шимака, сын кузнеца, неразговорчивый и, судя по впечатлению, отнюдь не самый умный, но, пожалуй, и вправду самый сильный. Он помогал уже в кузнице отцу и мог удержать любую лошадь, пока отец прибывал ей подкову. Когда учитель увидал, что его противник лишь немного ниже его ростом и, пожалуй, вовсе не слабее, он сказал, что хотел бы научить мальчиков всему, но на первый раз покажет им лишь некоторые приёмы. Это было довольно интересно — японские приёмы, при помощи которых можно было одной рукой одолеть противника, мальчики один за другим испробовали это на себе. Впрочем, обычная честная борьба в обхват нравилась им больше. Ярка не стал тратить тут много времени и вскоре ускользнул. А через не-

сколько минут издалека раздался резкий свист, и мальчики начали исчезать со двора. Остались лишь несколько малышей, которые стеснялись уйти просто так, без всякого предлога. Учитель всё заметил, но даже бровью не повёл. Он только спросил:

— В футбол играете?

— Конечно, да.

— Настоящим футбольным мячом?

— Нет, мяч был сшит из тряпок.

После обеда учитель куда-то уехал на мотоцикле, а на следующий день после уроков кинул в толпу мальчиков совершенно новый, гордо надутый воздухом мяч, точь-в-точь такой, каким играют клубные команды, и пошёл с ребятами на луг. Играть отправились, понятно, все. Кроме Ярки. Но мальчики решили, что завтра они его уговорят, у него такой удар, он так умеет поддать мяч, какая без него игра! Учитель слушал их и усмехался, он понимал, что между ним и Яркой начался поединок за власть над душами ребят. А Ярка на все уговоры отвечал:

— В школу я ходить обязан. Чтобы Кристе не пришлось корпеть над шитьём по ночам и выжимать из себя сто корон на штраф. Но играть с ним я не обязан и не буду, за это пока ещё не штрафуют. А вот тебе, Соуграда, видно, всё равно, что такие же немцы посадили твоего отца в концлагерь? И тебе тоже, Данек?

Возможно, что Яркина речь звучала более по-детски, но смысл её был именно таков. Беда, однако, была в том, что в происходившем поединке учитель располагал самым разнообразным оружием, а Ярка мог опираться только на постоянство мальчишеского сердца. Ненадёжная опора!..

Так или иначе, а в деревне начали говорить, что новый учитель славный малый и очень любит

детей. Ребятам постарше подарил такой красивый мяч, а малышам привёз переводные картинки, кубики и мягкий воск для лепки. „Наверное, немцы постарались выбрать паренька получше, чтобы показать нам, что такое — знаменитое немецкое ученье“, — рассуждали подоляне. Или: „Они знают, что осенью мы устроим свою школу — ведь к осени наш вопрос должен быть разрешён, и незаконное распоряжение отменят, ну, и хотят пока приохотить детей к немецкой школе. Вот увидите, они ещё начнут раздавать детям пальто и башмаки, как делали когда-то в Австрии, там, где были две школы — немецкая и чешская“.

А поединок между учителем и Яркой продолжался, ребята каждый день ходили с учителем играть на луг, и, наконец, однажды, когда раздался Яркин свист, на призыв не отозвался ни один из мальчиков.

— Вы все изменники, — сказал им Ярка, но они ответили, что он дурак и что учитель молодчина.

Учитель тем временем придумал новую игру. Это была игра в индейцы, в следопыты, в скауты — называйте, как хотите. Он заходил с ребятами далеко в поле и рассылал их оттуда во все стороны.

— Прячьтесь так, чтобы вас никто не мог заметить, — говорил он. — И хорошо запоминайте всех, кого встретите или увидите издали, так, чтобы потом могли их описать. Как человек выглядит, что он несёт. А если кто-нибудь чужой, не из деревни, идите за ним незаметно следом и наблюдайте, куда он идёт и что делает. А потом обо всём донесёте в главный штаб.

Главный штаб был чаще всего на лесной опушке. Дождаясь своих разведчиков, учитель лежал под клёном и от скуки втыкал нож в кору.

Из ствола вытекал липкий сок. Каждый раз учитель выискивал новое место, ещё не тронутое его ножом. Не пройдёт и года, как клён засохнет. Учитель, повидимому, этого не знал. А может быть, ему было всё равно. Возможно также, что этого он и хотел.

Мальчики прибежали с донсениями. О деде Данеке, который вёл козу на пастбище, о жене трактирщика, которая возвращалась из города с покупками и несла ещё при этом целый тюк газет,—ничто не ускользало от них, ни один шорох за околицей деревни, они запоминали даже номера автомобилей, которые проезжали через Подолье.

Дело не остановилось на этой игре. Учитель привёз откуда-то, — из Праги или, может быть, из Кладно,—целую пачку книжек. По большей части они были тоненькие, как тетрадки, и их с удобством можно было сунуть в карман; на обложке был чёрный силуэт, лицо в маске, либо портрет решительного, энергичного мужчины с трубкой в зубах, либо преступника за решёткой, либо лежащее в неестественной позе тело и рядом револьвер. Внутри, на шершавой бумаге, описывались захватывающие похождения детективов, которые выслеживали грабителей, унёсших драгоценности, спасали похищенных девушек и детей, ловили убийц и бандитов. Все детективы были мужественны, смелы и находчивы, они подмечали все признаки и улики, скрытые от обыкновенных взоров, правда всегда брала верх, закон торжествовал, и убийцу ждало заслуженное наказание. Учитель роздал книжки мальчикам — да, вот это было чтение, они с жадностью глотали их, и счастье ещё, что книжки были тоненькие, иначе бы они сидели над ними до утра, ведь невозможно оторваться, пока не дойдёшь до кон-

да и не проводишь преступника в сырое, холодное утро на эшафот. Замечательные книжки, мальчики читали их врасос, а когда они случайно попадали в руки к старшим братьям или отцам, те тоже читали их с неменьшим увлечением.

А учитель уже готовил для мальчиков новую игру. Теперь они будут детективами, будут наблюдать, что делается в деревне, подмечать и изучать следы и, как настоящие детективы в книжках, строить соответствующие умозаключения. А в случае каких-нибудь затруднений учитель им поможет. Особенно тщательно они должны были замечать всё, что казалось таинственным и необъяснимым, всё, даже если это было на первый взгляд совершенным пустяком. И, само собою разумеется, они должны были хранить в тайне все свои наблюдения и выводы, такова первая обязанность детектива. Но не от учителя, конечно, ведь он был их руководителем и главой.

Захватывающая, полная волнующих тайн игра! Но как мало было Подолье для такой игры, как буднично и вовсе не таинственно! Вот если бы здесь было что-нибудь вроде монетного двора, курильни опиума или подземных катакомб, как в Лондоне или Чикаго, где совершается столько прекрасных преступлений! Судя по всему, в Подолье никогда не было ни одного убийства, а если изредка случалась кража, то ее почти всегда можно было отнести на счёт цыган или замеченных в окрестностях бродяг. Разумеется, ребята старались во всем замеченном найти какой-нибудь злой умысел, хотя учитель хвалил их больше за добросовестные наблюдения, чем за скороспелые выводы. Из двух молодых людей, которые, устроившись за кладбищенской стеной, развернули пакет с бутербродами и наскоро поужинали, вместо того чтобы отправиться, как подо-

бают таким хорошо одетым людям, в трактир, мальчики сделали беглых каторжников. В другой раз они заметили, что один и тот же грузовик неоднократно останавливался из-за порчи мотора недалеко от деревни, и каждый раз приходилось тащить его к кузнецу для ремонта; грузовик вёз какие-то ящики, и мальчики сделали вывод, что груз для него слишком тяжёл — должно быть, в этих ящиках золотые слитки, похищенные из банковских подвалов! Но что делать с такими простыми наблюдениями, как, например, что Соуграды в последнее время несколько раз получали телеграммы или что к Матейке пришёл родственник из Либушина пешком, хотя оттуда прекрасно можно доехать автобусом? Да, слабый урожай, соглашался учитель, но хорошо как упражнение. Пусть продолжают в том же духе. Он привёз ребятам новую пачку книжек и предложил расширить наблюдения. Не надо прекращать их с наступлением темноты, и ночью можно сделать ценное открытие. И правда, вскоре маленький Кубин явился к нему с таким загадочным открытием:

— Я, господин учитель, заметил вчера, как немецкая служанка пошла в лес, а через несколько минут туда же побежал немецкий вахмистр.

Учитель сказал Кубину, что он тонкий наблюдатель. А когда утром Лиза, как всегда, принесла ему завтрак (ему готовили у Шульце, потому что он мяса не ел и не хотел столоваться в трактире), он стал дразнить её — хорошо ли она провела время с вахмистром? Лиза не признавалась.

— Ну, нет, меня не проведёшь, — сказал учитель, — у меня тут в деревне своя тайная полиция, на неё можно положиться, куда гестапо до неё!

Он засмеялся и взял её за руку. В это утро Лиза довольно долго задержалась у учителя.

Ярка был слишком горд, чтобы подлаживаться к ребятам, оставившим его в одиночестве, или чем-нибудь показать, что он огорчён. При встречах он разговаривал с ними, как всегда, но не проявлял никакого интереса к их новым играм и больше не упрекал их в измене. Но он был очень одинок. Его тянуло в общество подростков, уже работавших в качестве учеников на кладненских заводах, но три-четыре года разницы в этом возрасте большое дело, подростки воображали о себе слишком много и на простого школьника смотрели сверху вниз, разве иногда только снижались до нескольких слов о результатах последних футбольных состязаний. Они уж начинали курить, приударять за девушками и ходить на танцы, а мальчика всё это ещё не интересовало. Куда более доступны были старики. Те всегда рады были Ярке, голубые глаза так внимательно смотрели всегда на рассказчика, что старики охотно делились с мальчиком воспоминаниями, которые всем остальным слушателям успели уже надоесть до смерти. Ярка мог всегда пойти к Матейке и послушать, как Матейка сапожничал когда-то в Вене, и каким он был сапожником, и как самые важные особы заказывали у него сапоги. Или он мог зайти к старику Кубину, — он был ведь Ярке родственник по матери и дружил когда-то с его отцом, — и старик рассказывал ему шахтёрские истории. О том, как открывались шахты вокруг Кладно, о разных катастрофах, при которых погибали десятки рабочих, о шахтёрах, запертых обвалом в штольне, о том, как они оставались замурованными по четырнадцать-пятнадцать дней, а то и больше, и когда их откапывали, они были, как скелеты. Кубин сам был один из таких спасённых.

Можно было также навестить Яноушека. Яно-

ушек жил в крохотной хижинке, которую он построил собственными руками за деревней; ему помогал только печник, тоже бывший легионер. Он построил её, когда только что вернулся с войны и ещё чувствовал себя неловко с обыкновенными штатскими людьми. Старый воин не мог вдоволь наговориться о легионах, о битвах с немцами и о своих орденах и медалях. Ему-то Ярка и пожаловался на товарищey.

— Хорошенькое дело! — сказал Яноушек. — Так, значит, вертятся вокруг учителя по целым дням? Стоит на него взглянуть — и так и видишь его в серо-зелёном мундире и стальном шлеме, с автоматическим пистолетом на боку. Да и без этих украшений, кто он? Такой же немец, как и те, что вторглись к нам в марте.

Яноушек рассказывал мальчику о боях во время первой мировой войны, а другие старики — о старых шахтёрских боях за лучший заработок, за улучшение мер безопасности в шахтах, за свободу и права рабочих; о выборах, ораторах, об отпоре богачам. Часто также он сидел у кузнеца на плуге, ожидающем починки, и слушал рассказы о прежних людях — куда теперешним! То были силачи, одной рукой они поднимали тяжести, с которыми теперешние еле справятся обеими! Кузнец тоже знал, что Ярка не ходит играть с остальными.

— Ну, и мой Иенда не станет заниматься этими глупостями, — говорил кузнец. — Но в футбол играет. Вчера учитель опрокинул его, потому что набросился сзади, а Иенда зато лягнул его в голень. Ну, копыта у паренька здоровые, так что господин учитель теперь хромает и с недельку играть в футбол не будет. А вообще он малый неплохой.

Иногда, впрочем, Ярка испытывал недостаток в собеседниках. То Матейка, такой домосед, вдруг

куда-то укатил, якобы к брату, и вернулся только через три дня, и если бы он не проговорился, Ярка так бы и не знал, что он был далеко за Брно. То Яноушек выпроводил его однажды из своей хижины, потому что у него сидели какие-то два молодых человека и на столе была разложена большая карта; они поспешили её прикрыть, но Ярка успел заметить, что это была карта Венгрии и Югославии. Или вдруг кузница оказалась наглухо закрытой, словно там не было ни души, но сквозь щёлочку в старых воротах Ярка видел, что в подвале под кузницей светло, а через несколько минут кузнец вышел оттуда с каким-то человеком, и оба отмывали у колодца руки, измазанные маслом и вазелином. Этот человек был, повидимому, шофёром грузовика, который потерпел аварию и стоял у кузницы.

И всякий раз, когда взрослые были слишком заняты своими делами, Ярка чувствовал полное одиночество. Он шёл по переулкам и не встречал живой души. То есть если не считать ещё ползающих на четвереньках малышей, гусака с гусынями или скучающей собаки, но во всяком случае он не встречал никого из своих бывших друзей. А когда он проходил мимо школы и видел, что у учителя в комнате окно закрыто, он знал, что учитель вместе с мальчиками на лугу и наблюдает за их футбольным матчем или завёл с ними одну из тех игр, о которых они рассказывали с таким восторгом. И с некоторым злорадством — что ж, сам виноват, отказываешься только по глупости. Ярка шёл дальше по опустевшей площади. У полицейского поста, на вынесенных из канцелярии стульях сидели немцы; вот так, когда они без шлемов, револьверов, ремней и даже сняли рубашки, ничего в них нет страшного, просто с приятностью отдыхающие, плотно покушавшие

парни. Ярка забирался за дом священника, к фруктовому саду. Оттуда к нему доносился запах, напоминавший, что, пожалуй, уже могла созреть славившаяся на весь приход гигантская клубника. И просто так, от нечего делать, Ярка оглядывался по сторонам,—поблизости, обыкновенно, не было никого,—как ящерица, проскальзывал между кольями ограды и тонул в кустах.

Учитель дружил не только со старшими мальчиками. Малышам он дарил всякие игрушки и всегда умел занять их. С теми, кто уже вышел из разряда малышей, но ещё не мог быть отнесён к числу старших, он предпринимал постоянные прогулки по окрестностям. Оставались одни девочки, но с теми он просто не знал, что делать. Да девочки и не требовали такого внимания.

Однажды он решил посвятить целый день младшим мальчуганам и отправился с ними на прогулку. Правда, он не умел назвать почти ни одного цветка, ни одного камня, ни одной птицы, как полагалось бы учителю, но зато он охотно учился их названиям у детей. А дети, как известно, всегда рады делиться своими знаниями куда больше, чем трудиться над приобретением новых. С цветов и птиц вопросы учителя постепенно перешли на другие предметы. Гуляющие забрели далеко, до того места, где не так давно сошёл с рельсов поезд. Спрашивается, многому ли можно научиться, разговаривая о поездах и рельсах?

— У кого-нибудь отец работает на железной дороге?—спросил учитель.

Два мальчика подняли руки.

— Ну и что, очень твой отец был огорчён несчастьем?—обратился учитель к одному из них.

— Да нет, отец говорил—счастье, что это случилось после таких дождей.

— А почему твой отец считал, что это счастье?

— Не знаю, господин учитель.

— А что говорил твой отец?— повернулся учитель к другому мальчику.

— Моего отца тогда несколько дней не было дома.

— А где он был?

— Не знаю, господин учитель. За ним приходили двое каких-то незнакомых. Тоже железнодорожники.

— Как твоя фамилия?

— Карасек.

Учитель погладил юного Карасека по голове. Малыш был очень польщён.

В другой раз прогулка была ещё интереснее. Дошли до заброшенной шахты в лесу. Там ходили вокруг полуразвалившихся старых построек, стоявших здесь без дела добрых двадцать, а то и тридцать лет, и мальчики объясняли учителю, каково было назначение этих построек. Между постройками успели уже вырасти высокие сосны, а бывшие площадки пестрели золотистым корвяком, пурпурным чистотелом и светлоголубой румянкой — неприхотливыми цветами, которые ухитряются расти везде. Груды битого кирпича кудрявились хвощами, лапчатками и камнеломками, а сквозь трещины пошире пробивались юные берёзки; они росли даже на карнизах у бывших окон.

— Вход в старую шахту, наверное, совсем завален,— сказал учитель.

— Да нет,— возразили мальчики,— только мы не знаем, где он.

— Но нижние галереи, конечно, обвалились.

— Тоже нет. Ещё сейчас можно по ним пройти. Говорят, можно идти там целыми часами, пока не дойдёшь до „Праго II“. Эта та шахта, где был недавно взрыв.

— Откуда ты всё это знаешь? — удивлённо посмотрел на стоявшего впереди мальчика учитель.

— А это говорил мой дедушка. Он всю жизнь работал в старой шахте и знает там каждую щарапину. Он бы и сейчас нашёл там все ходы без фонаря. Дедушка говорит, что он и старый Кубин — последние из тех, кто знает старую шахту, как свою ладонь.

— Тебя как зовут, паренёк?

— Карел Голас.

— А что, твой дедушка был дома, когда взорвалась „Прага II“?

— Нет, он тогда ходил со старым Кубиным в Мотычин, на панихиду, и вернулся только вечером.

И семилетнего Карела Голаса учитель тоже погладил по голове.

Когда они возвращались, по дороге к ним присоединились старшие ребята, только что кончившие играть в футбол; мальчики окружили учителя тесной толпой. Красивая была картина: со всех сторон деревенские мальчики, большие и малые, все босоногие, все с непокрытой головой, а посреди — учитель, сам ещё похожий на мальчика, только постарше, в яркой цветной рубашке и, как они, без шляпы, только с коротко остриженными волосами. Да, красивое зрелище, сказал бы всякий. И всякий бы увидел, что дети льнут к учителю и он тоже ласков с ними, идёт, положив руки на плечи двух малышек, как старший брат. Остальные каждую секунду обращаются к нему с каким-нибудь вопросом или бросают на него восторженные взгляды. В этих взглядах играют искорки буйной мальчишеской шаловливости, но светит также привязанность и восхищение. Лейтенант Гельмут тоже замечал, конечно, эти взгля-

ды, но они интересовали его совсем по другой причине: когда у мальчика в глазах такая нежность, это верный признак, что из него можно верёвки вить. А опираться ласково на ребячьи плечи было для лейтенанта Гельмута частью порученной ему задачи, средством, ведущим к нужной цели. Если бы ему поручили не завоёвывать их доверие, а итти иным путём, например, спустить с них штаны и сечь их розгами или запереть и морить голодом, пока они не расскажут всё, он бы и это поручение выполнял с такой же добросовестностью и с такой же технически безупречной отделкой всех деталей. Но лейтенанту, видимо, нравилось, что он обходится без насилия. Он был доволен, что умеет завоёвывать людей, — неважно, если эти люди ещё желторотые птенцы, — что его слушают и ловят его взгляд. Он чувствовал, что в нём есть нечто от самого фюрера. Так шла эта нестройная толпа по полю к деревне. Солнце уже клонилось к западу, вскоре колокол костёла будет звать к вечерне.

С мальчиками постарше учитель немного постоял у школы.

— Я вижу, вам ещё не надоели наши игры, — сказал он. — Ну что ж, я ожидаю ваших донесений. От пронизательного детектива ничто не должно укрыться. Мне очень интересно, кто из вас пронизательнее всех и раскроет самое загадочное дело. Или заметит самую загадочную фигуру. Обращайте внимание на всех особенных людей, которые появятся в деревне. Что я разумею под особенными? Скажем, например, придёт какой-нибудь горбун. Или хромой. Или однорукый. Если вы увидите такого человека, немедленно донесите мне.

У Пефика Соуграды рука уже тянулась кверху: он ведь мог похвастать, что знает особенного

человека. Однорукого. Но рука сама собой остановилась. Он вспомнил, как они с Яркой, притаившись за обвалившейся клетью, шептались о таинственном короле Ячменное Зерно, которого ищут панские егери и мушкетёры. Он вспомнил старую сказку, и эта сказка... Но тут голос учителя оборвал нить его мыслей.

— Вот что, я придумал для вас ещё одну игру,— говорил учитель.— Начнём её с завтрашнего дня. Кто-нибудь из вас собирает марки?

Нет, никто не собирал. Они слышали, что это очень интересно, но альбом с марками был только у Йирика Барты, мальчика из самой большой усадьбы, а Йирик учился в гимназии в Праге и домой приезжал только на каникулы и на праздники. Но если учитель им покажет, что и как, то это будет, наверное, не хуже, чем игра в индейцы и детективы.

— Что вы! — воскликнул учитель.— Это лучше, гораздо интереснее, вот увидите.

На этом он распрощался с мальчиками.

Когда учитель не гулял с детьми, он обычно сидел дома. В первые дни по приезде он пробовал завязывать беседы с подолянами, но ему отвечали: „да“, „нет“ или „не знаю“. Да и это было уже много: полицейским подоляне совсем не отвечали, словно становились вдруг глухонемыми. Они проходили мимо них, не замечая, точно мимо бесплотных теней. Учитель быстро отказался от своих попыток, а когда чувствовал потребность в обществе, ездил повидаться с соотечественниками в Прагу или в Кладно или заходил посидеть к новому подолюскому торговцу Фридриху Шульце; иногда он останавливался на минуту перекинуться двумя словами с вахмистром, если ему случалось застать его на стуле перед домом. Впрочем, в последнее время этого не случилось—

с тех пор как вахмистр кричал из окна на служанку Шульце, которая несла учителю обед, и обзывал её разными словами. По вечерам учитель не выходил никуда. Окно в такую жаркую погоду он оставлял открытым, и можно было видеть, как он сидит у окна за столом и что-то пишет.

В этой позе видела его вся деревня, видел и Ярка. Бродя повсюду и не зная, чем бы скрасить своё одиночество, Ярка время от времени приходил и подглядывал за учителем. Точно так же он подглядывал бы за любым из мальчиков, который отнял бы у него бывшее первенство и бывших товарищей. Он старался бы поймать его на чём-нибудь таком, что унизило бы соперника в глазах остальных ребят. Но учителя мудрено было на чём-нибудь поймать. Иногда по вечерам Ярка подбирался к самому окну, только решётка (вставленная после случая с дохлой кошкой) отделяла его от учителя. У окна росло ореховое дерево с пышной листвой, дававшее густую тень, потому-то стол и был придвинут к самому окну. Учитель был всегда освещён настольной лампой, но самому ему не видно было, что делается за окном. И Ярка мог стоять и наблюдать, как он записывает что-то в тетрадь. Но в этом не было ничего особенного, учителя всегда записывают.

Новая задуманная учителем игра допускала лишь небольшое число участников. Учитель собрал с подюжины ребят и открыл перед ними большой альбом с марками, за которым ездил куда-то на мотоцикле. Должно быть, в Прагу, судя по тому, сколько пыли было на переплёте. Разумеется, сказал учитель, не каждый может завести себе альбом, но марки можно так же аккуратно и красиво наклеивать в тетрадь. На каждой странице должны быть марки другого го-

сударства. Марки бывают разной степени редкости. Самые редкие, конечно, марки далёких стран; ведь письма оттуда должны проделывать долгий путь, переплывать моря и океаны. Редки и красивы также марки, на которых изображены виды чужих стран, дикари, разные животные; такие марки можно часами рассматривать, как иллюстрации в книге. Но собиратель получает удовольствие от своих марок, если они наклеены у него в тетради достаточно густо, если на страницах нет больше пробелов; это, конечно, сразу не даётся, но каждый собиратель должен стараться, чтобы его коллекция была полной. Учитель не только показывал марки и называл страны, не только объяснял, как распознавать, откуда та или иная марка, но под конец открыл коробку из-под сигар, которую привёз вместе с альбомом,— коробка была полна марок!— и для почину подарил всем мальчикам по целой горсти марок.

Теперь, когда Ярка приближался по вечерам к окну, он всякий раз видел в комнате учителя двоих-троих из ребят. Одному притти было как-то неудобно, а вдвоём или втроём уже ничего. Учитель раскрывал перед ними свой альбом, объяснял различия между марками и на прощанье всегда дарил им по несколько красивых образцов. Собиратели марок забыли все остальные игры. Как только выдавался свободный час, они начинали просматривать и переклеивать свои сокровища в тетрадках, а когда сходились вместе, хвастали этими сокровищами друг пред другом или менялись марками. У кого оказывалась лишняя монетка, тот не ленился слетать в Кладно и купить несколько марок у филателиста.

Ярка видел это, и все это видели. Но никто не видел, что у мальчиков теперь в глазах горела

жадность попрошаек или завистливая злоба, что они, как старые скряги, сидели на своих богатствах, подозревая всюду врагов и похитителей. Все видели, как обмениваются двое мальчуганов марками, но никто не слышал, как они при этом беззастенчиво расхваливают свой товар и хулят чужой, как они во время торга пускаются на всякие хитрости и мелочное плутовство. Когда кто-нибудь из них отпраплялся в город к филателисту, он опустошал до дна свою копилку. И это тоже не было такой невинной вещью — ведь он хотел по грошику собрать деньги на башмаки, а может быть, и на такие цели, как подарок матери на именины или отцу на рождество. Но ещё хуже было то, что мальчик, который мог себе позволить такую роскошь, как покупка марок, важничал потом перед другими, с восторгом хвастал перед теми, у кого не было лишних нескольких монеток, не было только потому, что их отцы, никогда не забывавшие оделить их в субботу мелочью, томились теперь в Германии, а того, что зарабатывала мать, еле хватало на хлеб.

Никто не замечал, что сделала новая игра в несколько дней с детьми. И они сами этого не замечали. Но мальчишеская община — та община, которая всегда так тесно связывает между собой ребят в деревне, — распалась. Бумажные четырёхугольники, которые они наклеивали в свои тетрадки, превратились в нечто такое, чего их община до сих пор не знала. В собственность, в личную собственность, которой каждый пользуется только для себя. До сих пор все орудия их игр, простые и дешёвые, были предназначены (по крайней мере, у мальчиков; девочки — те по иному относятся к вещам) для игры сообща. Мяч или „чижик“ в руках одинокого мальчика был

беспольной, мёртвой вещью. Он оживал только тогда, когда его владеец находил товарищей, и игра была тем оживлённее и веселее, чем больше игроков она могла собрать. Правда, такие вещи, как волчок, лук и стрелы, воздушный змей или, скажем, книга, предназначены для одного, но я тебе дам книгу, ты мне волчок, и так как все эти вещи сравнительно долговечны, то чьё-либо новое приобретение всякий раз лишь увеличивало общий арсенал, откуда все черпали орудия забавы. Игру одушевляла дружба, а не вещи, и никакие соревнования и состязания не причиняли ей ущерба. Ты лучше в одном, а я в другом, один быстрее бегаёт, а другой кидает дальше камень, сегодня день моей победы, а завтра она достанется тебе, и при этом каждый добивается чего-нибудь такого, чего до сих пор ещё никому не удавалось, например, доплыть вон до того места. И каждое достижение отдельных победителей лишь пополняет и растит общую славу всей дружины.

А вот марки... Главное наслаждение от них в том, что они у меня есть, что они мои. Иметь их — вот вся радость. А цель в том, чтоб иметь их ещё больше. Если имеешь, чувствуешь удовлетворение, а если нет, можно дойти до бешенства. Никому не придёт в голову одалживать их или раздавать, это было бы глупо, а вот наврать с три короба другому и как-нибудь его околпачить — в этом нет никакой подлости, ничего дурного. Ложь и коварство собственности в три дня сожрали дух былой товарищеской общины. В мальчиках проснулись какие-то злые потаённые инстинкты, котсрых они, вероятно, никогда бы не знали, если бы этим инстинктам дали спокойно prospать детские и отроческие годы. А сейчас им стало безразличным всё, что прежде имело такую притягательную силу, и ими безраздельно овладела

одна мысль, одна страсть — иметь этих четырёх угольничков побольше, как можно больше, больше всех. Они жили, словно в чадy.

Вскоре учитель объявил:

— Так дальше, ребята, не годится. За те марки, что я вам даю, я хочу что-нибудь получать, потому что я собираю тоже. Начиная с сегодняшнего дня, я буду давать вам марки только в обмен на другие. Мне нехватает многих марок бывшей Чехословакии. (Он так и сказал „бывшей“. В другое время мальчики встретили бы это слово по крайней мере насмешливой улыбкой, так как даже дети не допускали, чтобы немецкие захватчики могли сделать „бывшим“ что-нибудь, чем они дорожили, но сейчас они пропустили словечко своего учителя мимо ушей) — Так вот, принесите мне завтра по десятку марок, больше не надо, и каждый получит за них по десятку иностранных.

Несколько старых писем отыщутся дома всегда, и на следующий день учитель получил от каждого из собирателей по десяти чехословацких марок и заплатил за них иностранными. Но на этом он не успокоился. Мальчики, по его словам, были ещё неопытными собирателями и портили многие марки, когда снимали их с конвертов. Пусть лучше они ему приносят и конверты, он будет отклеивать марки сам. И ещё одно: он был старым собирателем, и его интересовали также письма, которые приходят не по почте. Дело вот в чём. Просто фальшивые марки неинтересны никому, но подчищенные марки, когда почта не заметила мошеннической проделки и доставила письмо без всяких разговоров, очень ценны. А ещё более ценны для собирателя письма, для которых вовсе не понадобилось марок. За такие письма, то есть за каждый из конвертов, учитель будет давать

по двадцать, даже по тридцать марок. Разумеется, в конверте должно быть и само письмо, потому что конвертов каждый может надписать сколько его душе угодно. Да, так, значит, тридцать красивых марок за каждое такое письмо!

И мальчики перерывали дома ящики комодов, где обычно лежали письма, которые родители хранили как память. Иногда, однако, оказывалось, что письма хранятся под половицами в кухне или за балками на чердаке, где их укрывают от посторонних взоров пыль и паутина, или лежат под бельём на самом дне сундука и пахнут резедой, цветами которой мать пересыпает простыни. Оттуда все эти памятки прошлого перекочёвывали к учителю и выменивались на марки с видами острова Борнео, с крокодилами и носорогами, или на марки из Ниассы—страны, одно название которой придавало им особый интерес, не говоря уже о том, что своеобразная треугольная форма делала их настоящей редкостью. Такая ценная награда ещё более подогревала ребят, они удваивали свои старанья, и в домах не оставалось ни одного уголка, который не был бы ими тщательно обыскан.

Ярка каждый вечер видел, как мальчики ходят к учителю за марками, а когда он потом заглядывал к учителю в окно, тот всякий раз сидел за столом и усердно записывал что-то в свою тетрадь. Он видел также, как учитель пересматривает какие-то конверты и иногда вклеивает что-то между страницами тетради; повидимому, он занимался тем же, что и мальчики, у которых все вечера уходило на пересматривание и переклейку марок. Иногда учитель усмехался про себя, а нередко и посвистывал, видно было, что эта работа доставляет ему удовольствие. И у Ярки зародилось слабое, пока ещё очень слабое

сожаление о том, что он с самого начала был таким упрямым и теперь уже не может принять участие в таком замечательном деле, как собиране марок. Он должен был признаться самому себе, что и ему тоже учитель кажется не столько немцем, сколько изобретателем великолепных игр, которыми увлекаются ребята.

Но этому зерну в сердце Ярки не суждено было разрастись, потому что мальчик увидел у учителя кинжал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В тот вечер учитель вытащил из одного конверта листок бумаги, на котором его взгляд остановился с особым удовольствием. Он долго держал этот листок в руках, смотрел на него, прочёл от начала до конца, перевернул на другую сторону. И, не выпуская его из рук, начал посвистывать, всё громче и громче; наконец, не в силах усидеть на месте, вскочил и стал расхаживать по комнате. Так ведут себя люди, когда чувствуют, что дело шагнуло далеко вперёд, или когда после напряжённых поисков добиваются открытия, которое вознаградит их за все труды и долгое терпение. Учитель явно был у самой цели, всё в нём пело от радости и возбуждения. Если бы ему было с кем поделиться этой радостью, он побежал бы рассказать о своём открытии, чтобы насладиться самым звуком слов. Он вдруг остановился, исчез на мгновение из светлого круга, отбрасываемого лампой, и тотчас появился вновь, держа в руке какой-то блестящий предмет. Потом уселся за стол и, не разжимая пальцев, впери в этот предмет благоговейный взор, как юноша в портрет возлюбленной или молящийся — в священную реликвию.

Мальчик стоял в темноте за окном, прижавшись к стволу ореха. Он видел, что человек в комнате держит в руке кинжал и, как зачарованный, глядит на его клинок. Ярка узнал этот кинжал. Он, правда, видел его впервые в жизни, но кто в наше время не слышал о таких кинжалах! Гитлер награждал ими вернейших из своих верных. Тех, кто собственной рукой убил кого-либо из его смертельных врагов. Они носили это отличие как символ крови, пролитой во славу фюрера, и считали себя избранниками в рядах немецкого народа. Учитель держал кинжал в руках и с благоговением глядел на него, словно призывал на себя благодать и святость, почиющие на его сверкающем острие. Глаза учителя, следуя за острием, впивались в ночную тьму, как бы пронзённую кинжалом, впивались так молитвенно и напряжённо, словно оттуда, из бездонной тьмы, с ним говорило какое-то верховное, таинственное существо. Они впивались прямо в ствол, к которому прижимался мальчик, но не видели его. И мальчик не думал о том, что, если бы учитель не был так ослеплён светом лампы и собственным восторгом, он бы в конце концов его заметил. Потому что он сам тоже весь был поглощён кинжалом, его взгляд тоже был прикован к острой стали, он тоже был, как в столбняке, и не видел ничего, кроме кинжала. И для него тоже пространство было разрезано кинжалом: с юдной стороны было лицо, как бы оттиснувшееся на лезвие кинжала, с другой — хаос и ужас.

Он попытался выразить словами то, что увидел. Этот человек не учитель. Это палач, подсланный сюда для каких-то целей. И не для маловажных — тогда не послали бы человека, награждённого гитлеровским кинжалом, одного из отборных

гитлеровских убийц. Что он здесь вынюхивает, что ему надо?

У Ярки дрожали от волнения колени. Он еле держался на ногах. Грудь его болезненно сжималась, он тяжело дышал. Он отполз от окна почти на четвереньках, и только через несколько минут, когда первый страх прошёл, к нему вернулись силы, и он побежал со всех ног. В тени старой липы он остановился, но стоял недолго; едва собравшись с мыслями, он сказал себе, что надо поделиться своими наблюдениями с кем-нибудь из взрослых. Первым ему пришёл в голову Яноушек. Он побежал к домику Яноушека, но в окнах было темно, а на его стук никто не ответил. Куда теперь? К Матейке? Но и у Матейки света уже не было. У старого сапожника было плохое зрение, он с трудом работал при вечернем освещении и предпочитал пораньше укладываться спать и вставать на рассвете. Ярка не решился постучать в окно, чтобы не разбудить жены сапожника. Оставался ещё кузнец. Но у кузнеца стоял автомобиль, кузнец возился у тисков с каким-то рычажком, а шофёр сидел на наковальне и ждал. Да, трудно было кого-нибудь найти.

Ярка вернулся домой. Криста сидела у стола и шила. Ярка взял с полки книгу и попробовал читать. Он видел буквы, но буквы не хотели складываться в слова, а вникать в смысл слов он даже не пытался. Вдруг он поднял голову.

— Криста, нельзя ли мне, — он помедлил секунду, — нельзя ли было бы мне поговорить с одноруким?

Криста была так ошеломлена, что выронила из рук шитьё.

— Я никакого однорукого не знаю, — сказала она, наконец, а когда мальчик с удивлением на

нее посмотрел, добавила:— Я забыла, что такой человек существует на свете. И ты забудь. Мы о таком человеке ничего не знаем.

Ярка опять послушно уставился в книгу. Так. Значит, он остаётся один на один с молодчиком, награждённым кинжалом убийцы.

„Смотрит в книгу, но мысли его далеко, что-то есть у него на душе,“ — размышляла наблюдавшая за ним Криста, чувствуя, что братишка её задал свой вопрос отнюдь не из простого любопытства.

— А мне ты не скажешь, о чём ты хочешь говорить с одноруким?

— Хочу посоветоваться... кое о чём, — уклончиво ответил мальчик.

Криста решила купить его доверие ценою собственных признаний.

— Я знаю, что ты никому не проговорился бы об одноруком, но мы сами ничего не знаем. Ни где живёт, ни когда придёт. Но он всегда приходит как раз тогда, когда нужно, и именно к тем, к кому нужно. И если он чего-нибудь хочет, это всегда дело справедливое, и все ему охотно помогают. У него, наверное, тысячи помощников по всей Чехословакии, и они борются за всех нас с немцами, и настанет день, когда они нас от них освободят. А кто он — я не знаю. Должно быть, бывший солдат, потерявший руку на войне. Или рабочий, и руку ему оторвала машина. Может быть, мученик, которому немцы раздробили руку в своём застенке. Мы строим всякие догадки, но знаем очень мало. А что ты хотел ему сказать?

— Что наш немецкий учитель вовсе не учитель. Он гестаповец. Я видел у него кинжал — из тех, что Гитлер дарит своим самым кровавым псам. Это называется у них почётный кинжал. Так разве

пошлют сюда в Подолье, чтобы учить нас, такого отборного убийцу?

— Ты сам видел?

— Да, час тому назад. Он держал его в руках и смотрел на него, точно молился.

И Ярка рассказал, как он в последнее время частенько забирался к учителю под окно, как он до сих пор видел только, что учитель раздаёт ребятам марки, потом пишет и ложится спать, но сегодня увидел вдруг кинжал, и у него молнией блеснула мысль, что этот человек только выдаёт себя за учителя.

— Я хотел об этом с кем-нибудь поговорить, лучше всего было бы с дяденькой Яноушекком, но его не было дома. С кузнецом или Матейкой не удалось тоже. Ну, я и спросил тебя об одноручном.

Криста не пыталась скрыть, что она встревожена. Она уже давно отложила в сторону свою работу и сидела, погружённая в раздумье.

— Но что ему может быть надо от вас, детей? Ведь он же никуда не ходит, никто в деревне разговоров с ним не ведёт...

— Вот то-то и есть. Потому я и хотел с кем-нибудь поговорить.

— Если бы хоть Яноушек был дома, — размышляла Криста. — Но он вернётся только завтра ночью. А сама я не знаю, что делать.

Она была так растеряна, что Ярка захотел её утешить.

— Ну, пока я сам за ним понаблюдаю.

И он ещё раз вышел из дома — взглянуть, погасил ли уже учитель свет. Только удостоверившись в этом, он вернулся домой, улёгся в постель и крепко заснул.

Проснулся он довольно поздно. У постели, в головах, стоял стул, а на нём кружка с кофе, при-

крытая блюдцем, и тарелка с ломтём хлеба, намазанным маслом; возле тарелки лежала записочка от Кристи: „Еду в Кладно за покупками. Насчёт вчерашнего не ломай себе голову. Криста“. Он не спеша завтракал, не вылезая из постели, и приводил в порядок свои мысли. Ясно, Криста поехала, чтобы как-нибудь дать знать однорукому. Он ей, конечно, верил, когда она говорила, что не знает, где искать однорукого, по телефону ему не позвонишь. Но должны быть какие-то нити, они ведут к нему через множество посредников, как всегда бывает, когда надо хранить такую тайну. И Ярка окончательно успокоился, напился кофе, оделся, сходил на огород за зеленью и накормил кроликов. Когда он вышел за ворота, мальчики как раз выбегали из школы. Он к ним не подошёл. Он чувствовал к ним презрение за то, что они были так беззаботны и спокойны, даже не подозревали обмана, и никакой внутренней голос не предостерегал их против дружбы с гитлеровским подручным. К концу дня вернулась Криста. Было очень приятно выдерживать характер, не спрашивать ни о чём и говорить только о самых обыденных вещах, как, например, о том, что марковичевы куры опять забрались к ним в огород и надо будет починить забор. Криста весело рассмеялась, — неизвестно, что её рассмешило, то ли марковичевы куры, то ли заговорщицкие повадки брата, — и сказала:

— Завтра он здесь будет.

И больше об этом речи не было. Ярка, как всегда, шатался весь день по деревне. Вечером он опять отправится на разведку. А завтрашний день принесёт решение...

Когда настал вечер, Ярка обошёл школу изда- лека, чтобы не повстречаться с мальчиками, при- ходившими к учителю. Он отважился прибли-

зится к окну только тогда, когда решил, что от учителя ушёл последний собиратель марок. Но он ошибся в расчёте: учитель ещё был не один, у него сидел Тонда Кубин и клянчил марки, так как получил, должно быть, очень мало, а то и вообще ни одной. Неожиданно учитель о чём-то его спросил, о чём — не слышно было, хотя окно было открыто и в деревне стояла тишина, лишь изредка лаяла где-нибудь собака. Но хоть Ярка не слышал самого вопроса, он видел, как был изумлён этим вопросом Кубин — мальчик выпучил глаза и раскрыл рот. А учитель взял коробку, в которой хранились марки для раздачи, и высыпал её содержимое на стол. Образовалась порядочная горка. И опять не слышно было, что говорил учитель, но виден был Тонда Кубин; у него захватило дыхание, и он, как безумный, глядел, не отрываясь, на лежавшую перед ним кучу марок. Учитель вынужден был оттащить его от стола, повернуть лицом к себе и возвысить голос, чтобы мальчик очнулся и понял его слова.

— Так вот, завтра принесёшь, и все эти марки твои. Но, может быть, они тебе не нужны, так это сделает мне другой, и марки достанутся ему. Можешь до завтрашнего дня подумать.

И он на глазах Кубина стал пересыпать марки обратно в коробку, горсть за горстью, а Тонда смотрел, как тает кучка на столе, и когда учитель сгрёб в руку последние остатки, он что-то сказал и выбежал вон. Учитель засмеялся и подошёл к шкафу за своей тетрадью. Ярка видел, что он снова собирается писать. Можно было бы, конечно, подождать и посмотреть, что будет дальше, вытащит ли учитель опять свой кинжал и будет молиться на него, как вчера, но Ярка рассудил, что не мешало бы узнать, чего учитель

так настойчиво добивался от Тонды Кубина; это могло пролить свет на многое.

И он побежал за Тондой. Тонда был ещё совсем птенец, он не умел ничего рассказать толком, но Ярка не сомневался, что вытянет из него всё. У Кубиных ещё не были закрыты ставни. Младший брат Тонды лежал уже в постели. У стола сидела тётя Кубина и что-то штопала. Дедушка Кубин, в очках, всё время сползавших ему на кончик носа, читал газету и при этом шевелил губами. Место во главе стола оставалось незанятым. Прежде там сидел всегда отец Тонды, которого немцы увезли вместе с другими шахтёрами с „Праго II“. Самого Тонды в комнате не было. Куда же он девался? Ярка обошёл дом и увидел отворенную дверь сарая; в глубине сарая моргал тусклый огонёк свечи, и кто-то возился с дровами. Ярка заглянул внутрь. В одном месте Тонда разбросал поленья и, когда обнажилась земля, разгрёб тонкий верхний слой; открылась ямка, и мальчик вытащил оттуда небольшой ящик. Свечка осветила крупные чёрные буквы: „Осторожно! Опасно для жизни!“ Ярке не надо было говорить, что это динамит.

Одним прыжком он очутился возле Тонды и схватил его за плечи. Мальчик вскрикнул от испуга, но, рассмотревши, что это Ярка, растерянно спросил:

— Чего тебе тут надо?

— Я шёл за тобой от самой школы. Что ты хочешь делать с динамитом?

Тонда Кубин не мог придумать ничего, кроме обычных мальчишеских ответов:

— А тебе какое дело? Это вовсе не динамит. А если динамит, так не твой.

Ярка не нуждался в объяснениях Тонды. Он

знал теперь, за что молодчик с кинжалом обещал своему ученику такую кучу марок. Перед ним начала вырисовываться вся картина, но он считал долгом чести добиться от глупого мальчишки полного признания. Он схватил Тонду за волосы и стукнул его головой о дверь.

— Скажешь, что хотел учитель? Зачем ему был нужен динамит? Раз! Два! Не скажешь? Три!

Тонда вынужден был признать, что учитель требовал за марки динамитные патроны, и он хотел отнести ему один патрон. Он признался, во-первых, потому, что ему было очень больно, а во-вторых, потому что не видел в своих намерениях ничего дурного. Получить все эти марки за один динамитный патрон!.. Но Ярка не дал ему договорить. Он задул свечу и вытащил Тонду за ворота, на дорогу.

— Куда ты меня ведёшь? — захныкал мальчик.

Продолжая сжимать его плечо, Ярка остановился с ним у телеграфного столба, на котором ещё уцелел клочок объявления, расклеенного в своё время по деревне немцами. Несмотря на темноту, можно было прочесть: „Хранение оружия или взрывчатых веществ, равно как и простое недонесение об этом преступлении, будет караться расстрелом на месте“.

— Теперь понял? Немцы расстреляли бы твоего отца, если бы я тебя не захватил во-время.

— Учитель не выдал бы, он не такой. Он хочет только сделать один опыт...

— Твой учитель гестаповец, — перебил его Ярка. — И не простой, а такой, что получил от Гитлера кинжал, который даётся только самым отъявленным злодеям. А приехал он для того, чтобы... — Догадки одна за другой рождались теперь в мозгу у Ярки, мысль была ключом, то, что было темно до сих пор, внезапно освещалось

ярким светом.— Приехал он для того, чтобы дознаться, чтобы выведать, что взрослые делают против немцев. Это шпион, он только выдаёт себя за учителя. Он выведывает здесь всё. Выведывает у вас. Старается, чтобы вы рассказывали ему всё, что знаете, чтобы доносили ему. О чём он с вами говорит? О чём расспрашивал? Что вы ему успели наболтать?

Слова Ярки звучали так убедительно, что Тонда не выдержал и разревелся.

— Ты думаешь, что папу расстреляли бы?

— Перестань реветь. Некогда сейчас. Кто вас знает, что вы ему наплели. Ну, не хнычь же, лучше помоги мне... Вот что, созови всех ребят, пусть сейчас же придут... ну, хоть в школу. В Кристину школу, конечно, дурак. Нет, не все, только старшие, те, что вечно крутились возле учителя и получали от него марки. Ты созови ребят из нижних переулков, а остальным скажу я сам. И пусть приходят обязательно. А кто не захочет, тому скажи... ничего не объясняй, только скажи, что он предатель и может убить своего отца, как чуть-чуть не убил ты. Скажи, что общая тревога! Должны притти все. Ну, беги!

Ярка обошёл несколько переулков, постучал в несколько окон, вызвал несколько мальчиков, потом направился к старому амбару, не спеша вошёл и зажёл фонарь, висевший на продольной балке. Мальчики начали понемногу собираться. Но Ярка не говорил ничего. Он ждал, пока соберутся все, и только тогда рассказал им о кинжале.

— Он, конечно, не стал бы им перед вами хватать. Только вы водили дружбу с одним из подлейших немецких убийц. Нежничали с ним. Играли в разные игры. Выклянчивали марки. У шпиона. Он шпион. Когда он выведает, что ему надо,

он явится сюда в шлеме, в чёрном мундире, с кинжалом на боку, приведёт за собой солдат с пулемётами и будет сам колоть и резать своим кинжалом.

— Откуда мы могли знать? Мы думали, что он просто приличный немец.

— И наболтали ему нивесть что. Я должен знать, что ему удалось у вас выпытать.

— Да он у нас ничего не выпрашивал. Ты же сам знаешь, Ярка, он только играл с нами. В футбол, в индейцы и в другие игры. В детективы.

И тут мальчиков словно осенило, они стали припоминать.

— Мы должны были наблюдать за всей деревней. И доносить ему, кто приходил в Подолье. Кто и куда уходил. Какие номера были у автомобилей, которые здесь останавливались.

— И вы ему всё говорили?

— Говорили. Мы думали, что это такая игра.

— А один раз,—вспомнил Пепик Соуграда,— он сказал, чтобы мы немедленно прибежали ему доложить, если заметим в деревне какого-нибудь особенного человека, например, горбуна, или хромого, или однорукого.

Ярка подступил к нему с угрожающим видом.

— И ты... сказал?

— Нет, не сказал,—ответил Пепик и весь затрепетал от гордости.

— Так. Дальше,—не отставал от мальчиков Ярка.—Постарайтесь вспомнить, что вы говорили ещё.

— Он спрашивал меня, можно ли пройти под землёй из старой шахты в новые. Я сказал, что не знаю,—вспомнил один из ребят.

— А я ответил, что это знают только старики,—добавил другой.

— А у меня он спрашивал фамилии самых ста-

рых шахтёров, которые работали ещё в той шахте, — сказал третий.

— Дальше! Ещё, ещё!

— Он спрашивал меня, был ли дома мой отец, когда поезд сошёл с рельсов.

— Мне он велел принести газеты, которые отец носит в пустом бидоне.

— Он хотел, чтобы мы ему приносили письма, которые к нам приходят.

Ребята начинали понимать, сколько опасных ловушек было скрыто в самых простых на вид вопросах и как много невольного предательства содержалось в каждом, даже самом невинном, ответе. Они вспоминали всё новые и новые подробности, и их охватывал ужас. Повторяя теперь свои прежние слова, они видели, как эти слова сливаются в длинный, крепко спаянный во всех своих звеньях страшный донос. Они теперь начинали догадываться о тайне взрослых, в которую не были посвящены; очертания явственно выступали перед ними, слагаясь из случайных обрывков, подхваченных тем или другим, отдельных мелочей, на которые наткнулся тот или другой. И ещё из всего того, что они сами, по неведению, донесли учителю на своих отцов, дядей, соседей, знакомых, крёстных. Теперь все они выданы на произвол гитлеровских палачей.

Вся чешская земля, захваченная немцами, все города и деревни придавлены были с марта 1939 года страшной тяжестью, чувством собственного бессилия и томительным ожиданием минуты, когда немецкая власть надвинется, как туча, обрушится на них, как лавина, как шквал, и сделает с беззащитной землёй и безоружными людьми, что захочет. В этой деревне детям первым пришлось почувствовать, как бесплотный ужас сгущается над их родным Подольем в чёрную массу, кото-

рая раздавит кровли их домов и людей под ними. И всё это только потому, что они играли. Играли в следопыты, в детективы, собирали марки. Но ведь игра — это нечто лёгкое, прозрачное, как роса, как паутина, как вздох, и вдруг она должна повлечь за собой допросы, пытки, муки, казни и убийства, самое жестокое, самое тяжёлое, самое мрачное, что в состоянии представить себе человек. Да, игра, их игра показала путь гибели, и они сами, они, дети, привели в Подолье смерть.

— Что же делать? Рассказать дома, чтобы отец мог сесть на велосипед и куда-нибудь уехать? Ярка, что нам делать?

Ярка опять стал главой мальчишеской дружины, её вождём, командующим, капитаном, как было прежде во всех играх. Он вырвал из рук учителя предводительство, которым тот на время овладел. Мальчики попрежнему ждали решающего слова от него. Ярка знал, что завтра придёт однорукий и приведёт всё в порядок, но нельзя же было рассказывать о нём этим олухам. А всё-таки что-то надо было сказать, сказать с той уверенностью, которой все от него ожидали.

— Идите по домам и не поднимайте никакого шума! Время ещё есть. Учитель захочет допытаться дальше, потому что он знает ещё далеко не всё. Сегодня он допытывался у одного мальчика насчёт динамита. (Кубин бросил на Ярку благодарный взгляд за то, что тот его не назвал.) Завтра он попробует то же самое с другим. А вы держите себя с ним, как ни в чём не бывало. Да, это очень важно, чтобы он ничего не заметил, ни о чём не догадался. В Подолье придёт помощь. Нет, больше я ничего не могу сказать. А за учителем я пока присмотрю.

Всё это было хорошо, но не так-то просто. Детей мучил страх. И угрызения совести. Се-

годня всё заглушал страх, но завтра дадут себя знать угрызения совести. И не один из мальчиков бросится на шею отцу, начнёт исповедываться.

Пока что мальчики расходились. Ярка погасил фонарь и вышел в темноту безлунной ночи. Ему ещё предстояло понаблюдать за учителем.

Учитель сидел и писал. Сегодня он засиделся больше, чем обычно. Ярка подобрался к окну как можно ближе, насколько позволял падавший наружу свет, который мог выдать его, и тень орехового дерева, которая делала его невидимым. Учитель перелистывал тетрадь, вносил порою кое-какие поправки и разглаживал ладонью листочки, вклеенные там и сям между страницами. Ярка догадался, что это письма, листовки и разные невинные на первый взгляд клочки бумаги, которые натаскали ему мальчики. Наконец учитель дошёл до последней страницы, исписанной только до половины, и поставил в конце последнего предложения точку. Это была не простая точка. Перо учителя не оторвалось от бумаги, а начало играть с точкой. Оно любовно кружилось по краю точки, точка росла, она была уже, как горошина, а учитель всё ещё продолжал округлять её. Ярка не в силах был отвести от неё взор, в его глазах она росла быстрее, чем в действительности, была уже, как чёрная печать, как почерневшая от грязи крышка, прикрывающая бочку, где пенится какая-нибудь гниль. Итак, учитель поставил точку. Значит ли это, что у него всё готово? Что он уже знает всё, что хотел? И ему осталось только привести других гестаповцев и начать расправу? Не ошибся ли Ярка, когда успокаивал ребят и считал, что у учителя в тетради ещё есть пробелы, что торопиться некуда и можно без всякого

шума дожидаться завтрашнего дня, когда придёт однорукий?

Одно во всяком случае Ярка знал наверняка. Покуда учитель и его тетрадь здесь, не стоит поднимать тревогу. Надо следить за обоими. Ярка отполз от ореха к частоколу, отделявшему школьный двор от соседнего. Через изгородь свисало несколько тяжёлых веток сирени, обоазуя как бы свод и тёмный уголок под ним. Ярка забрался в этот закоулок, присел на корточки, обхватил колени руками и, опершись спиной о колья, замер в неподвижности. Из своего убежища он ещё видел, как учитель положил тетрадь в шкаф, потом разделся и потушил лампу. Ярка продолжал сидеть, он решил не покидать свой пост до утра, не оставлять без наблюдения даже это чёрное спящее окно.

А мальчики уж давно были все дома. Если бы мы могли заглянуть в ту ночь под крыши деревенских домиков, мы увидели бы, что сон у ребят был очень беспокойный. Вот в одном из домиков мальчик уже второй раз выбегает из коморки на чердаке, где он спит, и спускается в сени зачерпнуть из кадки холодной воды. Мать слышит и показывается на пороге комнаты.

— Что ты всё время бегаешь пить? Ты нездоров?

— Нет, мама, просто в горле пересохло.

— Это оттого, что гоняешь целый день без передышки.— Она зажигает свет и смотрит на сына.— Да ты весь в поту. Пойдём, ляжешь со мной, я тебе положу на горло компресс. Что у тебя болит?

— Ничего, мамочка, ей-богу, ничего. Я теперь буду спать.— И мальчик возвращается в свою коморку, зарывает голову в подушку и плачет.

Другой домик. В переполненной жилой комнате

мальчик лежит на соломенном тюфяке, разостланном прямо на полу; он ворочается с боку на бок, мечется во сне, иногда колотит кулаками о пол.

Ещё один домик. Мальчик вдруг просыпается и кричит:

— Папа! Папа!

Отец встаёт и подходит к его постели; мальчик опускает ноги на пол, но, почувствовав возле себя отца, отыскивает в темноте его руку, крепко сжимает её и говорит сонным голосом:

— Папочка! Папочка, мне снилось, что немцы хотели тебя повесить! — Он ложится и, готовясь снова уснуть, целует отцовскую руку, чего никогда в жизни не делал.

Всё это время Ярка сидел на одном месте, в одной и той же позе, свернувшись в клубочек и упершись подбородком в колени. Он не спускал глаз с окна. Учитель спал. Это был хороший признак. Если суждено было быть беде, то придёт она только утром. Собственно, что могло случиться утром? Учитель мог отнести свою тетрадь к вахмистру. Или сдать её на почту. Или сесть на мотоцикл и отвезти её сам. И вопрос заключался в том, успеет ли однорукий во-время, придёт ли он, пока ещё можно предупредить беду? И хватит ли для этого его таинственной мощи? Сумеет ли он одолеть тетрадь?

А что если бы тетрадь вдруг исчезла? Если украсть её?

Если не будет тетради, учитель останется с пустыми руками, пропадёт всё его всеведение, все подклеенные между страницами улики. Эта мысль явилась у Ярки внезапно, но она показалась ему такой убедительной, что он не мог представить себе никаких возражений. Был ли тут виной поздний час, когда бодрствование походит на дремоту, а мысль на сон, или смертельная трево-

га, которая была бы рада одним броском вырваться из готового сомкнуться круга, во всяком случае этот план не оставлял места для колебаний и сомнений. И все размышления Ярки сосредоточились лишь на вопросе, как его осуществить. Он должен был проникнуть в комнату учителя, это было ясно. Когда? Сейчас же. Он слышал, что в первые часы сон бывает особенно крепок, сейчас учитель не проснётся. Но как пробраться? Разумеется, через окно. И мальчик поднялся и, ступая на цыпочках босыми ногами, подкрался к окну. Так близко, что слышал ровное дыхание спящего, порою прерываемое здоровым лёгким храпом человека, погружённого в глубокий сон.

Правда, в окне была решётка, шесть железных прутьев. Но уважающему себя мальчугану нет надобности мерить метром расстояние между кольями в плетне или величину оконца над кладовой или ширину отверстий в заборе у священника; он просто чувствует их меру и размеры собственного тела. Достаточно было одного взгляда, и Ярка уже знал, что железная решётка не препятствие, и если учитель крепко спит, а его тетрадь лежит в шкафу направо, куда он её обычно прячет, то не пройдёт и пяти минут, как замысел будет приведён в исполнение. Он ухватился за железные прутья, влез на карниз и начал проползать внутрь.

Сначала одно плечо, потом единственное действительное неудобство — голова, но и она пролезет, если немного ею повертеть, затем другое плечо, а туловище, как резиновое, сожмётся и растянется без всякого труда само собою. Ярка пролез внутрь легко и неслышно, точно кошка, и так же беззвучно соскользнул на пол. Теперь только тихонько подобраться к шкафу, — тут уж пусть ноги сами чувствуют, могут ли они на что-

нибудь наткнуться,— и вытащить тетрадь. Ярке повезло, он сразу же нашёл свою добычу. Он сунул тетрадь за пазуху, чтобы обе руки были свободны, и начал так же тихо красться назад к окну.

Но человек, ремеслом которого было сторожить своих хозяев даже во сне и, чуть что, зверем набрасываться на их врагов, проснулся. И в тот же миг — это особенность таких людей — сна как не бывало, и он знал, что надо делать. Не вглядываясь в темноту, он прыгнул прямо на вторгшееся к нему существо, присутствие и точное местонахождение которого открыл его изощрённый слух. Он опрокинул при этом ночной столик с лампой и со всем, что на нём находилось, но зато в одно мгновение прижал Ярку к земле, навалился на него всей своей тяжестью и схватил его обеими руками за горло. Мальчик стал бить его по лицу. Но его душили пальцы взрослого мужчины, и силы скоро оставили его. Руки его упали и только судорожно шарили по полу, словно хотели что-то схватить. На секунду стискивавшие его шею клещи разжались, чтобы переменить позицию, и мальчик мог глотнуть немного воздуха; это вернуло ему какую-то частицу сил. Достаточную, чтобы его рука ухватилась за что-то, случайно встреченное ею. Это было что-то твёрдое, его можно было сжать пальцами, и, что бы это ни было, оно во всяком случае было крепче, чем кулак, и им больше можно было сделать, чем голыми руками. И пальцы Ярки сжались, рука его взметнулась,— её взметнула не сила, а скорее судорога,— и ударила в давившую его тело тяжесть. И в тот же миг и мальчик, и его пальцы знали, что они сжимают; это была рукоять какого-то ножа. Странно, как легко вонзился нож. И ещё страннее — колена, упирившееся мальчику

в живот, перестало давить. Руки, душившие его, разом ослабели. И всё это тяжёлое навалившееся на него тело скатилось вбок.

Ни тогда, ни после Ярка не мог с уверенностью сказать, продолжалась ли борьба несколько часов, как ему казалось, когда он задыхался в безжалостных тисках, или всего лишь несколько секунд, ибо сейчас же, как только она кончилась, от неё остался в памяти только неясный след, как от кошмарных образов стремительно промелькнувшего сна. Как бы то ни было, Ярка мог опять дышать и двигаться, и он прежде всего отодвинулся от тела, которое, не шевелясь, лежало рядом с ним. Затем он поднялся, ещё шатаясь, и сразу же подумал, что надо убираться. Но прежде чем вскочить на подоконник, он не забыл пощупать у себя за пазухой — да, тетрадь на месте, под рубашкой. Он вылез за решётку, протискиваясь сквозь прутья как попало, лишь бы поскорее. Чтобы спрыгнуть наземь, надо было сначала ухватиться за прутья и повиснуть на руках. Ярка должен был повернуться лицом к комнате, и он увидел на полу нечто ещё темнее, чем сама тьма. Он почувствовал какую-то брезгливость. Его чуть не стошнило. Но тут его голые подошвы прикоснулись к холодной твёрдой почве и к острым камешкам, и силы окончательно вернулись к нему. Земля, на которую он ступил, простиралась во все стороны, как одна гигантская дорога, которая по всем направлениям вела от этого ужасного места к спасению. Ярка со всех ног побежал по этой прекрасной, твёрдой, колючей земле. Он был уже далеко, когда заметил, что всё ещё что-то судорожно сжимает в правой руке. Это было орудие, которым он ударил учителя. Гитлеровский кинжал.

Мальчик бежал, и это был не просто бег, а бегство. Он бежал от страшного места, где лежал мертвец, и от той опасности, которая всегда витает вблизи мертвецов и именуется карой. Это было инстинктивное бегство. Так бежит объятый ужасом человек. И точно так же бежит ребёнок. Он чувствует страх перед величайшим страшным лицом, какое знает, перед смертью, он чувствует противный вкус во рту, и такое же противное ощущение у него в душе — оттого что причина этой смерти не кто иной, как он. Ему кажется, что какое-то чудовище гонится за ним по пятам, что страшные призраки и оборотни мчатся рядом с ним. Он бежит, словно погоняемый ими, он сам не знает куда, он не выбирает дороги, и он не знает также, что бежит кратчайшим путём вон из деревни и поворачивает на пешеходную тропинку, ведущую к реке, на берегу которой стоят высокие тополи, а под ними темнеет густая поросль ивняка, где мудрено заметить кого-нибудь. К такому именно месту устремился бы всякий зверёныш, ищущий безопасного убежища.

Ярка был уже под охраной зелёного свода и знал уже, что тут его никто не откроет и не выдаст, и надо было лишь уйти от отвращения и страха, вызванных соприкосновением со смертью (только куда?), как вдруг его охватил ужас, превосходивший все ужасы этой ночи. Прямо к нему, словно оторвавшись от тьмы, приближалась какая-то живая, осязаемая тень. Она была всего лишь в трёх-четырёх шагах, бежать было невозможно. А тень уже простёрла к нему руки! И только когда он их почувствовал, когда они охватили его плечи, Ярка узнал дядюшку Яноушека. Добряка Яноушека, друга и приятеля всех ребят, старого солдата, само спасение! И весь ужас внезапно разрешился обыкновенными

детскими слезами, смывшими все страхи, всю беспомощность и отчаяние, всё, что гнало мальчика неведомо куда. Сильные руки обнимали его, голова его лежала на широкой груди, у самого источника честности и правды, теперь можно было бы плакаться вдоволь, он уже не был предоставлен самому себе, он снова был ребёнком, с доверием прижавшимся к взрослому мужчине. Яноушек, не выпуская мальчика, слегка встряхнул его и спросил:

— Что ты тут делаешь в два часа ночи? Не реви и расскажи, что с тобой случилось, дурачок. Ну, говори, в чём дело?

Но мальчик долго не в состоянии был отвечать, а когда он вновь обрёл дар речи, он только повторял сквозь слёзы:

— Я не хотел его убить, дяденька! Я не хотел!

Он вёл себя, как помешанный, и, не переставая, плакал. Добрые сильные руки усадили его на громадный ольховый пень, прижали к опустившемуся рядом телу, надёжному, как колонна в храме, и он услышал голос, который действовал так ободряюще именно потому, что звучал нарочито грубо.

— Что ты тут мелешь, дурак? Опомнись и не лопочи, как младенец. Кого ты убил?

— Учителя, — сказал мальчик.

— Учителя? Того молодого немца?

Слово „немца“ немного привело в себя Ярку. Ужас перед тем, что он сделал, до сих пор твердил ему, что он убил человека. И только сейчас он сообразил, что это был человек, более чуждый ему, чем животное. Человек злой, из тех, что издеваются над всеми, кто Ярке близок, из тех, кого все ненавидят. Гестаповец, чудовище, убийца.

— Да, его, учителя,— сказал он.— Только он был не учитель. Он был немецкий шпик, а вовсе не учитель.

И Ярка, не очень связно, но достаточно вразумительно рассказал о том, как учитель обольщал ребят и выведывал всю подноготную, о тетради, кинжале и динамите, о том, как он хотел выкрасть тетрадь, как учитель бросился на него и что произошло потом. Слёзы его уже высохли, но в голосе ещё слышались всхлипывания, когда он заканчивал свой рассказ:

— Я не хотел его убить. Я хотел только унести тетрадь. А потом меня охватил страх, и я побежал. Я боялся малейшего шороха, я не знал, куда мне укрыться, я прибежал к реке и решил, что прыгну в воду, чтобы уйти от этого всего, и я бы прыгнул, если бы не встретил тебя, так я был напуган.

Всё время, пока длился этот взволнованный рассказ, Яноушек молчал и только поглаживал Ярку по голове и по плечам. Рассказ и поглаживание несколько успокоили мальчика, мысли в голове перестали путаться, ночь вокруг была ясная, и тишина её была полна покоя.

— Так. Всё понятно.— Слова Яноушека сначала почти беззвучно падали в тишину, точно выходили из сдавленного, пересохшего горла.— И это называется люди! Ходят на двух ногах, разговаривают, лицо у них человечесьё, умеют считать, строят машины, всё, как у других. А если дать им волю, поступают, как дикие звери, да нет, куда там дикие звери! У зверя честная забота — детёныши и пища. А эти! Только дьяволы или людоеды могут додуматься до такого — искромсать детские души, опоганить детям всю жизнь до могилы! Что за жизнь, если кровь твоего отца на тебе и ты это знаешь! Нет, даже людое-

ды жрут только мясо, а не душу. Тьфу! убить их мало!— он с минуту помолчал, как бы собираясь с мыслями.— А тетрадка где? У тебя?— Ярка молча вытащил тетрадь из-за пазухи.— Ну-ка, давай посмотрим, что в ней такое.

Яноушек полез в карман за электрическим фонариком и начал осмотр тетради. Ярка тоже глядел в тетрадь, но видел только красиво выведенные буквы; слов он не понимал, он не знал по-немецки. Яноушек медленно читал строчку за строчкой и, если не все слова были ему знакомы, то общий смысл он во всяком случае понимал. Иногда он произносил что-то вроде „ну-ну!“, иногда молча качал головой и очень часто ругался.

Чего только не было в этой тетради! В ней, например, говорилось о том, как через деревню пробирались бежавшие социалисты, у кого они ночевали и как староста Белик и трактирщик помогали им скрыться. Быть бы обоим на виселице! О себе Яноушек прочёл, что он переправил через границу бывшего учителя и много молодых людей, главным образом, бывших лётчиков; он переправлял с ними и письма, а может быть, и секретные сообщения. Ну, и он бы висел... К кузнецу несколько раз приезжали автомобили с номерами одного из военных заводов; он, очевидно, прячет оружие. Ещё одна виселица. Старики Кубин и Голас помогали устроить, а может быть, и сами устроили взрыв в шахте „Праго II“. Верная смерть обоим. Трое рабочих службы пути такой-то дистанции повредили железнодорожную насыпь у Пшиточина. Ещё троим крышка. В деревне распространяются листовки и подпольные газеты; приносят их такой-то и такой-то, а по адресам, указанным во вклеенных между страницами письмах, можно найти и место, где они пе-

чатаяются. Криста Дворжак получает и посылает шифрованные телеграммы, у неё здорово рыльце в пушку. Землевладелец Рыдль (ишь ты, произвёл его в землевладельцы!) ездит в Прагу на собрания тайной крестьянской организации, которая прикрывается невиннейшей в мире вывеской. Тайная коммунистическая организация ведёт переписку с рабочими из Подолья; её штаб-квартира находится там-то. С другой тайной организацией связан сапожник Матейка, а ещё с одной — священник Козак. Жена Валенты и жена Соуграды были в Устье, когда там вспыхнул пожар на химическом заводе, гостили якобы у родственников.

И ещё много-много таких же сообщений и много-много имён. А между страницами были вклеены летучки, отпечатанные на тонкой папирозной бумаге, конверты с адресами, номера газет, всякие уведомления, повестки, копии телеграмм, заверенные на почте, записки, клочки бумаги с наспех нацарапанными несколькими словами. В заключение много говорилось о складе динамита; этот склад находится в Подолье у... тут было оставлено место, чтобы вписать фамилию потом. И за этим следовала точка, та самая последняя точка, такая огромная, что Ярка видел её в окно.

— Ярка, сыночек, да ведь ты спас целую деревню! У него уж всё было готово. Вынюхал чуть не всё. Того, что здесь написано, хватило бы для двух десятков виселиц и для сотен лет тюрьмы и концлагеря. Он поймал нити, по которым людей хватали бы не только здесь, а и в Кладно, в Праге, по всей Чехии, и волна распространялась бы всё дальше и топила бы всё новые жертвы, сотни людей попались бы, лучшие из нас! Ты сам не знаешь, скольких ты спас! Не упрекай себя в том, что ты его убил. Никакого толку не

было б, если бы ты взял у него только тетрадь и оставил ему голову, в которой всё это тоже было записано. Это бы мало дало. Дай тебе бог счастья за всё!

И старый солдат крепко поцеловал мальчугана. Ярка почувствовал на щеке щетинистые усы и вдохнул запах пива и табака. В поцелуе не было никакой родственной нежности, никакой чувствительной ласки, нет, это был поцелуй, которым мужчина дарит мужчине, что бывает не часто и только в великие минуты. Казалось, он оставил на щеке мальчика след, который никогда и никто не сотрёт, он разлился теплом по всему телу Ярки и наполнил его гордостью и верой в себя, как... ну, скажем, как какой-нибудь большой, очень большой знак отличия, с которым уж можно смело пройти весь остальной жизненный путь.

— Прежде всего надо принять некоторые предосторожности, — сказал Яноушек.

Он порвал тетрадь на мелкие клочки и поджёг эту кучку бумаги, а когда она догорела, разбросал пепел по траве во все стороны. Ярка вспомнил о кинжале. Снова вспыхнул фонарик. Кинжал лежал на том самом месте, где Яноушек схватил Ярку за плечи. Мальчик поднял его. Старый солдат жестом профессионала попробовал лезвие и острие.

— Настоящий нож мясника. Тоже надо куда-нибудь деть.

Он подошёл к самому берегу и швырнул кинжал в воду. Кинжал звякнул, ударившись о камни.

— Это ещё не всё. Сядем-ка ещё на минуту.

Яноушек снова усадил Ярку на ольховый пенёк. Река, уже сильно обмелевшая, еле слышно журчала, с берега доносилась тонкая дробь кузнечика. В этой, почти совершенной, тишине как-то

особенно ласково и вместе с тем особенно настойчиво звучали слова Яноушека:

— Ярка, сыночек, держись до конца таким же молодцом. Никому ни слова о том, что ты сделал. Даже Кристе. Будем знать только мы двое. Я думаю, что тебя не заподозрят, хотя, наверное, вас, ребят, будут всех допрашивать, потому что этот немчик всё время вертелся между вами. Понимаешь, не выдавай себя ни за что на свете. Будут подозревать кого-нибудь взрослого. Так кого бы ни подозревали и что бы с ним ни делали, ты молчи. Ни словечка. У каждого из нас есть своя доля в общем деле, мы защищаемся, как умеем, чтобы немцы нас не одолели и не поработили, мы боремся все за одного и один за всех, и если кому-нибудь придётся снять частицу с твоих плеч и взвалить на себя, то это правильно, так и надо. Ведь ты один спас нас всех! Так понял? Молчи, молчи, молчи! Как раз ты-то и должен молчать, потому что ты кое-что знаешь. Если бы ты попал немцам в руки, они бы вымучили из тебя всё, хоть бы ты откусил себе язык. Из нас, взрослых, они так много не вытянут. А если попадут на такого, кто вообще ничего не знает, так тем лучше, значит, они ничего не смогут допытаться. Так понял? Ни слова, ни звука, не смей даже глазом моргнуть! Это будет тебе нелегко, представление может оказаться не из весёлых, но ты должен молчать. Обещай мне это. Ну, давай руку!

Мальчик вложил руку в широкую, жёсткую ладонь старого воина.

— Вот так. Теперь всё в порядке. Я на тебя полагаюсь. И хватит на сегодня. Пора спать.

Не выпуская руку мальчика из своей, Яноушек проводил его до самого домика Дворжаков. Они не говорили между собой по дороге, и только

когда они подходили к воротам, Ярка спросил:

— Дяденька Яноушек, скажите, ничего не было в той тетради насчёт однорукого?

Яноушек от удивления остановился, как вкопанный.

— И откуда ты всё знаешь? Насчёт однорукого? Нет, ни словечка. Так тем более: молчать, не выдавать. Даже если бы ты видел, как кого-нибудь из нас ведут на казнь. Хотя бы меня самого. Понял?

— Да, дяденька.

— И только когда мы прогоним немцев с нашей земли, я расскажу остальным, что ты для них сделал. Уж не беспокойся, скажу им, что ты настоящий герой, озорник ты этакий!

Он ещё раз погладил мальчика по голове и подтолкнул его к дверям. Ярка был бы непрочь на прощанье ещё раз почувствовать солдатский поцелуй и щетинистый подбородок дяденьки Яноушека, но, видно, такие отличия дважды в жизни не достаются.

Дверь за мальчиком закрылась. В деревне по-прежнему стояла тишина. Спала деревня, спали люди, спали собаки, даже листва старой липы не шевелилась и спала. Липа пахла мёдом — она была в полном цвету. Старый легионер мог спокойно идти через площадь, не опасаясь нескромных взоров. И он шёл спокойно и смело, не прячась в тени и не приглушая шагов. Он подошёл к учителеву окну и заглянул внутрь. Да, там на полу лежало нечто ещё темнее, чем сама тьма. Странно, что мёртвый человек вдруг становится таким тёмным и ещё более неподвижным, чем неподвижные предметы. Яноушек нажал кнопку фонарика, и светлый круг пробежал по измятой постели, открытому шкафу, опрокинутому ночному столику и следам борьбы на полу.

А когда круг вернулся к окну, он осветил на пыльном карнизе явственно видные следы мальчишеских ступней: два полумесяца и пять звёздочек перед каждым. Яноушек снял фуражку и стёр следы, и когда он стоял так, нагнувшись и с непокрытой головой, казалось, что он любовно и набожно оттирает босые детские ноги. На всякий случай он обтёр ещё край стола у окна, насколько могли достать его руки, и железные прутья — на них могли сохраниться отпечатки пальцев. На полу и на старом ковре какие-нибудь следы, вероятно, остались; но, как говорил Ярка, за вечер у учителя перебивало много ребят, и выдать именно Ярку эти следы не могли.

И старый легионер не спеша направился домой, а деревня окончательно погрузилась в ничем не нарушаемую тишину.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Петухи уже возвестили наступление утра, коровы уже мычали в хлевах, но людей ещё не было слышно. Только когда на колокольне костёла отзвучал утренний благовест, люди стали проявлять первые признаки жизни. Сначала над одной, потом над другой, третьей трубой показался бледный дымок, и вскоре все пятьдесят — шестьдесят труб деревни посылали своё горячее дыхание в молочно-голубое небо. Но дым невысоко стался над крышами и быстро расплывался в прозрачном воздухе деревенского утра. Трудно найти на свете что-нибудь более мирное, чем это утреннее дыхание человеческих очагов. Когда стоишь над деревней и видишь эти лёгкие завитки и ленточки дыма, такие неосязаемые и такие невесомые, то не думаешь ни о горшках в печи,

ни о молоке или супе, ни о подогретых оладьях, и кажется только, что это дым утреннего жертвоприношения, которым смиренные человеческие создания напоминают небесам о своём существовании, и знамение, которым они возвещают друг другу и всему миру, что прошла ночь и начался, в тишине и покое, их новый день.

Но вот уже послышался скрип колодезного насоса, стук калиток, гул человеческих голосов. Деревня проснулась, только площадь была ещё пуста, словно никому не хотелось ещё переступить свой порог. Из двухэтажного домика вышла Лиза. Как всегда по утрам, она несла учителю горшочек жиденького немецкого кофе и два рожка. В верхнем этаже у окна брился вахмистр. Увидав Лизу, он стал кричать на неё. Так он кричал на неё каждое утро. Люди, понимавшие по-немецки, говорили, что он грозил ей: чтоб не смела задерживаться у учителя слишком долго, иначе он когда-нибудь свернёт шею им обоим! Что ж, в Подолье немка, даже веснущатая, с лицом, как решето, была товаром весьма редким. И Лиза знала себе цену. Она со смехом повернулась к окну и нарочно замедлила шаг, чтобы вахмистр мог ею всласть налюбоваться. В школе она остановилась в сенях, поставила горшочек у дверей на пол, вытащила из кармана передника пудреницу и густо запудрила всё лицо. Она была уверена, что веснушки её единственный недостаток, который не очень заметен под пудрой.

После этого она постучала в дверь. Сначала негромко, как всегда. Потом сильнее и, наконец, забарабанила кулаком. Но так как никто не открывал и даже не отзывался, она вышла наружу и заглянула в окно. Она не сразу сообразила, что она видит. Но через минуту она уже бежала через площадь с воплем: „Убили! Убили!“ С

криком объяснила она высунувшемуся из окна вахмистру, что случилось. В следующее мгновение двое младших полицейских сломя голову неслись к школе. Оба ещё полуодетые, но с револьверами в руках, словно они рассчитывали захватить виновника на месте преступления и тут же покарать. Они бросили взгляд в окно, затем устремились в коридор. Дверь сначала не поддавалась; они упёрлись в неё плечами и сорвали с петель. В этой спешке было не очень много смысла: судя по всему, учитель давно уже был мёртв. Прибежавший вахмистр поставил одного из полицейских на часах у дверей, а сам вернулся в канцелярию, телефонировал в Прагу и Кладно и наскоро оделся по всей форме. Лиза как сквозь землю провалилась.

А Подолье было спокойно: оно ничего не знало. Женщины выгоняли со двора скотину, засыпали просо курам, подметали дорожки у крыльца, собирали еду для мужей. Гогочущая стая гусей неторопливо направлялась на площадь к пруду.

И вдруг — разразилось... В деревню с грохотом въехали несколько грузовиков, набитых немецкими полицейскими из Кладно. Не успели ещё эти гости соскочить наземь, как примчался отряд солдат на мотоциклах. Деревня разом наполнилась гулом моторов, который прорезывали резкие выкрики. Выстроившись в шеренги, ровные, как частокол, немцы оцепили все переулки и выставили пулемёты. Всё это было сделано в течение нескольких секунд, раньше чем подоляне успели догадаться, что вообще что-то происходит. А когда стали открываться окна и двери, откуда высовывались лица, то оказалось, что почти против каждого окна и каждой дверей стоит солдат. Из-под стальных шлемов раздавались грубые окрики, которых, правда, никто не понимал,

но так как они сопровождалась блеском взятого на изготовку карабина или револьвера, то этого было достаточно, чтобы высунувшаяся из окна голова мигом исчезла, а жена с детьми поспешила укрыться в задней комнате. А за первыми грузовиками приехали другие, привезшие новых солдат, которые тотчас же выстроились в правильном боевом порядке. Офицер отдал им несколько приказаний вполголоса, словно дело происходило на учении или предстояло выполнить простую повседневную обязанность. И тогда началось.

Как взбесившиеся машины, немцы разом ринулись на двери подольских домиков. Поворачивать ручки дверей они считали излишним. Они просто толкали двери ногами, а где дверь была заперта, взламывали её двумя-тремя ловкими ударами прикладом. Они врываются внутрь и выгоняли людей из домов. Всех гнали на площадь. Всех — мужчин, женщин, стариков и старух, испуганных, по большей части лишь наполовину одетых, — сгоняли там в одну кучу. Детями немцы, повидимому, не интересовались; дети сами, разбуженные шумом, выбегали вслед за родителями и с плачем устремлялись к ним. Но взрослых окружала плотная цепь полицейских, и всегда наготове имелась обутая в тяжёлый сапог нога, чтобы отшвырнуть плачущего ребёнка. Дети, однако, тоже сбились в одну кучку за толпой взрослых; ребята поменьше громко ревели, у старших на лице были растерянность и отчаяние. Полицейские привели на площадь последних, недостававших подолян. Яноушека, который жил за деревней, мужчин, которые были уже в поле, деревенского дурачка Иозифека с окровавленным лицом, так как он не понимал, чего от него хотели. Притащили сторожа костёла и восьмидесятилетнего священника Козака, которого так грубо толк-

нули к остальным, что он упал бы, если бы его не подхватили в толпе. Пригнали и пана Барту, владельца усадьбы, который уже много лет держался в стороне от всяких общественных дел. Он был зол на односельчан с тех пор, как вместо него выбрали в старосты „этого большевика Белика“, хотя должность старосты больше шестидесяти лет считалась как бы принадлежностью усадьбы. Полицейские, окружавшие толпу кольцом, стискивали её всё теснее, словно хотели её удушить. При этом они не жалели ругательств, кулаков, каблуков и прикладов. Кучка людей на площади была беззащитной. Всё, что могли сделать мужчины, — это собрать женщин и стариков в середине и выстроиться самим на опасной окраине. Могли ещё цедить ругательства сквозь зубы.

Но что, собственно, случилось? Немцы никому не отвечали, пока встревоженные люди не уговорили обратиться к ним с этим вопросом священника. Во внимание ли к его хорошему немецкому произношению, или к его глухому, стоячему воротничку на этот раз нашёлся немец, соблаговоливший коротко бросить: „Вы убили тут ночью немецкого учителя“. Весть разнеслась в толпе. Одна из женщин истерически расхохоталась и стала кричать:

— Учителя их убили? Так мы тут при чём? Я им скажу, кто его убил. Их вахмистр! Он завёл шашни со служанкой из лавочки, а учитель её у него отбил. Я сама сколько раз слышала, как он орал на неё из окна. Я чуточку понимаю по-немецки, он грозил, что перешибёт хребёт им обоим. Я не одна это слышала. Это он его убил! Скажите им это, ваше преподобие!

Все немного приободрились. Да, это так, вся деревня об этом знала, сейчас всё выяснится, ну, и пусть этот толстяк теперь попрыгает, так

ему и надо, мерзавцу. Священник попытался сообщить об этом подозрении одному из полицейских, как ему казалось — офицеру, но офицер, не дослушав до конца первой фразы, так ударил его кулаком под ложечку, что священник долго не мог перевести дух.

Сияющий диск восходящего солнца и безоблачное небо обещали хороший день. Но именно это лучезарное солнце и ясное небо оказались безжалостными мучителями; уже сейчас, ранним утром, солнце немилосердно жгло обнажённые головы людей; и неизвестно было, сколько им ещё придётся стоять и ждать. Они кричали детям, чтобы те отошли немного дальше, туда, где уже лежала тень старой липы, а сами ждали, как жертвы, обречённые неведомой участи.

Наконец приехали из Праги два автомобиля с офицерами, сопровождаемые охранниками на мотоциклах. Они остановились у школы, где в ожидании их стояли уже начальники всех отрядов и вахмистр со своими помощниками. Полковник выслушал донесения о том, что случилось, и о принятых мерах и окинул взглядом площадь, которая была уже ему знакома. С минуту он задумчиво постоял перед окном, за которым освещённое дневным светом лежало тело учителя. Нет, не учителя, лейтенанта Гельмута, поправил он сам себя. Он вошёл в школу, в комнату учителя и остановился над телом. Один из его спутников наклонился над трупом и, после долгого и тщательного осмотра, сказал:

— Смерть наступила не менее, чем восемь или даже десять часов тому назад, и последовала от раны, нанесённой чрезвычайно острым орудием прямо в сердце.

Двое других из свиты полковника занялись осмотром комнаты. В тёмных уголках они прибе-

гали к помощи электрического фонарика, некоторые предметы рассматривали сквозь лупу. Полковник следил за их действиями, присев у окна на край стола, за которым обычно сидел и писал учитель. Покуривая папиросу, он молча наблюдал за ними с таким же снисходительным видом, с каким дрессировщик наблюдает за стараниями ищущих след собак. После нескольких минут наблюдения он сказал:

— Я вижу, так будет трудно что-нибудь выяснить. — В голосе его не было никакого упрёка, была только спокойная уверенность начальника, который сейчас покажет себя своим подчинённым во весь рост. — Оставьте это пока.

И он бросил окурок за окно, чтобы всем стало ясно, что наступил тот миг, когда за дело возьмётся он сам.

— Вахмистр Кнальмайер нам подробно расскажет, что он знает обо всём этом деле.

Вахмистр, не упуская ничего, рассказал, как было открыто убийство сегодня утром.

— Так, благодарю вас. А теперь скажите, имеете вы подозрение на кого-нибудь из деревни?

— На кого-нибудь, господин полковник? На всю деревню. Его мог убить любой житель деревни, я только не знаю кто.

— Был у него здесь какой-нибудь особенный враг?

— Нет, не было. Можно сказать, что никто на него даже косога взгляда ни разу не бросил. Но ненавидели все. За то, что он немец. — И, немного помолчав, вахмистр прибавил: — Кроме детей. Те его даже любили. И прощали ему, что он немец.

— Значит, дети его любили, — повторил про себя полковник. — Хорошо. Теперь подойдём к вопросу с другой стороны. Как проник сюда

убийца? Дверь утром пришлось выломать, отсюда следует, что она была заперта на ключ.

— Так точно, господин полковник.

— Торчал ключ в замке или нет?

— Он не мог быть в замке, — вмешался один из офицеров, — убийца не мог бы тогда отпереть дверь и проникнуть сюда.

— Вам что-нибудь об этом известно, вахмистр? — продолжал полковник. — Нет? Ну-ка, поднимите дверь, может быть, мы найдём ключ под ней.

Сорванная с петель дверь всё ещё лежала на полу; её подняли, и ключ оказался под ней. Но по его положению нельзя было судить, выпал ли он из скважины, когда была сорвана дверь, или же он лежал там и раньше. Произошёл краткий обмен мнениями, и офицер, только что подававший свой голос, снова сказал:

— Ключ не мог быть в замке, потому что убийца должен был отпереть дверь и потом снова запереть её за собой. Проникнуть в комнату он мог только через дверь. В окне решётка. Сквозь неё никто не пролезет.

Полковник остановил долгий взгляд на решётке и с лёгкой иронией заметил:

— Вы сказали—никто?—Офицер готовился ещё раз почтительно подтвердить эту очевидную истину, но полковник перебил его:— Никто? Ребёнок мог бы.

Офицеры окаменели от изумления. Полковник, очень любивший такие эффекты, спокойно помолчал несколько секунд, чтобы насладиться произведённым впечатлением, и продолжал:

— Надо предполагать, что дверь была заперта на ключ, так как не подлежит сомнению, что лейтенант Гельмут соблюдал в неприятельской стране простейшие меры предосторожности, обыч-

ные для всякого человека, не принадлежащего к числу местных жителей. Если бы он вынул ключ из замка, то мы бы нашли его, вероятно, среди предметов, лежащих около опрокинутого ночного столика. Если же ключ оказался под дверью, то это значит, что он выпал из скважины, когда вахмистр Кнальмайер, действуя со свойственным ему усердием, сорвал дверь с петель. Мы можем считать установленным, что дверь была заперта на ключ и ключ был в замке, а поэтому убийца не мог проникнуть в комнату через дверь. Остаётся только окно. Если среди жителей деревни нет акробата, способного на такие номера,— вахмистр Кнальмайер должен будет это выяснить, не смейтесь, господа, это необходимая подробность, я вовсе не шучу,— то только гибкое детское тело могло пролезть между толстыми коваными брусьями. Но это был не маленький ребёнок, так как для такого удара нужна порядочная сила. Повидимому, убийцей был мальчик худощавый, но крепкий. Таково моё мнение, господа.

Офицер разведывательного отделения, который до сих пор единственный из всех решался высказывать свои соображения, теперь полностью согласился с полковником и добавил только:

— Конечно, этот ребёнок был лишь орудием какого-либо взрослого или взрослых.

— В этом я не сомневаюсь,— сказал полковник.— Но если мы найдём непосредственного виновника, то выясним и чей замысел он выполнял. Вахмистр Кнальмайер, где можно было бы собрать всех здешних детей?

— Тут, в школе, господин полковник.

— Отлично. Сгоните сюда весь этот сброд.

Полковник отдал ещё несколько распоряжений: положить тело убитого на постель, прикрыть

как полагается и поставить почётный караул из двух человек. Скоро приедет специальный автомобиль и отвезёт тело в Прагу. Лейтенанту Гельмуту будут устроены торжественные похороны как национальному герою.

После этого, к ужасу взрослых, несколько полицейских подступили к липе, где стояли дети, и словами и жестами начали втолковывать им, чтобы все они немедленно явились в школу. Да, все. Если кто колебался, то грубая тяжёлая рука хватала его за плечо, поворачивала лицом к школе и давала толчок в спину. Полицейские шли за детьми и погоняли их, точно стадо, а часть солдат рассеялась по деревне — надо было заглянуть во все домики; где-нибудь мог ещё укрываться ребёнок. Ошеломлённые родители с тревогой наблюдали за происходящим, а дети, которые начали было успокаиваться, видя, что родители, хотя и отделённые от них стеною полицейских, стоят тут же на площади, снова были охвачены страхом. Полицейские погнали в школу даже таких малышей, которых следовало ещё носить на руках, и старшие сёстры действительно взяли их на руки. Другие малыши, которым ещё далеко было до почётного школьного возраста, размазывали слёзы ладонями по неумытым с утра мордочкам. Только школьники и школьницы шли сравнительно спокойно, хотя и не понимали, что им делать в школе, когда учитель... ну да, все уже знали, что случилось с учителем. Старшие мальчики подозревали, что дело касается их, так как они всё время дружили с учителем, а со вчерашнего вечера знали, кто такой их учитель. Всё утро они только об этом и говорили. А сейчас они догадывались, что их будут о нём допрашивать, и спешили условиться, что

разумеется, никто не должен и вида показать, что ему известна правда об учителе, надо говорить только, что учитель с ними играл, ходил на прогулки, охотно разговаривал и дарил редкие марки. И именно эти мальчики, которым следовало бы беспокоиться больше всех, шли спокойнее других, потому что им надо было многое обдумать.

Немецкие офицеры уже поджидали их в классе. Полковник уселся на кафедре, старшим офицерам принесли стулья, младшие стали за кафедрой у школьной доски. Солнце заливало своими лучами классную комнату, яркий свет отражался от свежесмытых стен, комната полна была сияющего блеска, и в этом блеске чёрные мундиры гестапо выглядели ещё угрюмее и страшнее. Дети поменьше плакали ещё по дороге, а едва войдя в класс, они разразились громкими рыданиями, так как у людей, которые пристально на них смотрели, был угрожающий и мрачный вид, не обещавший ничего, кроме зла.

Полковник несколько недовольно и насмешливо оглядывал пёстрый ассортимент, собранный его подчинёнными. Ну и постарались же! Тут и полуодетые и совсем не одетые экземпляры, в том виде, как они выскочили утром из постелей и побежали за родителями, и даже сосунки в коротких рубашонках, с голым задом! Детей набилось в класс столько, что они никак не могли поместиться на партах. Полковник сошёл с кафедры и всё с той же насмешливой улыбкой направился в проход между партами. Тыкая пальцем то в одного, то в другого, он выкрикивал одно только слово: „Пшёл!“ Он рывал по-немецки: „Lauf!“ — но так как он при этом указывал рукой на дверь, то дети понимали и стремглав бросались вон. Сначала малыши, потом ребята

чуточку постарше, потом все девочки по очереди неслись к дверям, стараясь поскорее покинуть это место, где что-то собирались делать шесть чёрных страшилищ. Полковник ходил между партами, как злой великан, как сказочное чудовище, как людоед, выбирающий себе лакомый кусочек на закуску. Он мерил детей глазами, мысленно прикидывал на вес. Когда движением руки он выгонял малышей, то делал это, как мясник, отстраняющий телят, которые кажутся ему ещё недостаточно подросшими и упитанными, ещё не нагулявшими мяса. Те же, кого он оставлял, видимо, казались ему подходящими, у них уже было кое-что на костях, они годились уже на убой. Наконец в классе остались только мальчики в возрасте приблизительно от девяти до четырнадцати лет, всего человек пятнадцать. Полковник вернулся на кафедру, просмотрел классный журнал и удостоверился, что все мальчики этого возраста здесь налицо. Значит, один из них и убил лейтенанта Гельмута.

Как когда-то сам лейтенант Гельмут, когда он впервые встретился с ними, и почти в том же самом порядке, полковник переводил взгляд с одного лица на другое, задерживаясь всякий раз на несколько секунд. Но на лицах он не читал ничего, кроме вполне понятного любопытства, вызванного ожиданием. Кто из них убил Гельмута? Возможно, что вон тот здоровенный рослый бездельник, который даже в полуодетом виде кажется одетым лучше всех — должно быть, из состоятельной семьи. Или тот чёрный, неужели ему ещё нет четырнадцати? А силы у него, наверное, не меньше, чем у взрослого. Это мог быть и тот худой, длинноногий, нездоровый на вид

мальчишка, и тот поменьше,— сразу видно, что он ловок, как кошка, и взгляд у него такой же коварный,— убить мог и тот красивый, немного бледный человечек, который не притворяется, но действительно держит себя спокойнее всех остальных. А почему не тот узкоплечий и вислоухий, ужасная образина! Неужели он? Но ведь это позор — погибнуть от руки такого сморчка, которого можно раздавить одним пальцем!

— Кто из господ офицеров владеет языком местного населения? — спросил полковник. Один из офицеров предложил свои услуги. — Переведите этим мальчишкам следующее: мы знаем, что лейтенанта Гельмута, нет, будем говорить — немецкого учителя, убил один из них. Если виновный не объявится добровольно сам, каре подвергнутся все. Этого пока хватит.

Офицер начал переводить, но полковник, к своему удивлению, увидел, что мальчишки совсем не испуганы, наоборот, на лицах можно было прочесть облегчение, а на некоторых даже заиграла усмешка. Может быть, родной язык звучал для них слишком смешно в устах вызвавшегося быть переводчиком офицера? Это могло создать совсем не то настроение, какого требовала минута. Полковник резко крикнул, прервав на полуслове лингвистические упражнения офицера, действительно достойные смеха:

— Вахмистр Кнальмайер, есть тут в деревне какой-нибудь пользующийся уважением человек, который хорошо говорит по-немецки?

Вахмистр предложил на выбор старосту Белика и священника Козака. Полковник выбрал священника.

— Приведите его сейчас же сюда!

Когда детей загнали в школу, полицейское кольцо вокруг взрослых несколько разжалось,

И все,— ведь надо же было знать, что с детьми,— хлынули к школе, все, в том числе и священник,— это была его прямая обязанность,— и даже пан Барта, увлекаемый общим потоком, как самый простой обитатель деревни. Когда вскоре начали выпускать малышей, матери кидались к ним, прижимали к груди и уносили домой на руках, хотя бы это был пострелёнок, уже несколько лет отлично бегавший на собственных ногах. Только матери старших мальчиков продолжали стоять и ждать, а вместе с ними их мужья и все подольские мужчины, все до одного. Встревоженные, нахмуренные, возбуждённые.

Вахмистру поэтому не пришлось долго разыскивать священника. Когда священник вошёл в класс, мальчики встали, как вставали всегда при его появлении, когда был урок катехизиса. И старый священник, как всегда, махнул им рукой, что означало „садитесь!“ Этот скромный школьный обряд в присутствии священника ещё более успокоил мальчиков; классное помещение снова приобретало свой обычный, знакомый облик.

— Вы, кажется, говорите по-немецки?— спросил полковник.

— Да, лет пятьдесят тому назад, ещё в старой Австрии, я начал своё священническое служение в немецком приходе.

— В таком случае вы можете быть мне полезным. Сейчас я вам скажу, в чём дело. У нас имеются неопровержимые доказательства, что наш... гм!.. соотечественник, которого предательски убили сегодня ночью, был убит одним из этих мальчишек. Я требую, чтобы виновный сам признался в своём преступлении. Я не сомневаюсь, что он действовал по подговору, и если он даст чистосердечные показания, я ограничусь той карой, которая полагается малолетнему, действовавшему

под развращающим влиянием взрослых. Добровольное признание мы приравняем к раскаянию в совершённом преступлении и будем считать, что здешние дети ещё не окончательно испорчены. Точно так же мы будем судить и тогда, если виновника назовёт кто-либо из его товарищей; назвавший будет, кроме того, освобождён от всякого наказания. Если мы выясним, одним из этих способов, кто совершил преступление, то все не причастные к делу мальчики будут немедленно отпущены домой. Если нет, то мы без всякой жалости и пощады всё равно вынудим у мальчиков признание, но так как мы будем знать, что все они заражены тем же тлетворным духом, что и непосредственный виновник, то они будут наказаны все. А когда кончится срок наказания, они домой не вернутся. Мы отправим их в Германию и доверим их воспитание благомыслящим немецким людям. Мы сделаем из них хороших немцев, какие нужны в новом национал-социалистском государстве, и они будут служить тем великим целям, которые мы предназначали человечеству. Родителям, которые делают из своих детей убийц, коварно нападающих на честных немцев, не может быть вверено воспитание детей. Объясните им всё это, чтобы они хорошо поняли, я не привык разговаривать с детьми.

Старик-священник, у которого и так не было ни кровинки в лице после утреннего знакомства с немецкими полицейскими, побелел, как полотно. Он собрал всё своё мужество и сказал:

— Разрешите мне, господин полковник, довести до вашего сведения, что говорят местные жители. Я могу привести вам целый ряд свидетелей, которые слышали, как вахмистр грозил убить учителя из-за какой-то девушки. Здешние жители убеждены, что...

Это сообщение позабавило полковника. Он задал вахмистру несколько вопросов, на которые тот отвечал по-военному — отрывисто и громко, и притом с солдатской простотой и откровенностью. Офицеры весело ржали. Полковник вернулся к священнику.

— Надеюсь, вы поняли, что всё дело не стоит выеденного яйца. Я выяснил его сейчас только для того, чтобы показать вам наше немецкое беспристрастие. Строго говоря, я должен был бы просто отвергнуть высказанные вами подозрения. Совершенно исключено, чтобы человек, преданность которого фюреру и империи не подлежит никакому сомнению, поднял руку на другого в такой же мере преданного человека. Не так ли, вахмистр?

— Так точно, господин полковник! Всё для фюрера и фатерланда. Хейль Гитлер!

— Так вот, — продолжал полковник, — совершенно очевидно, что учителя убил один из этих поганцев. Не будем же тратить время на бабьи сказки. Будьте добры, передайте им то, что я вам сказал.

Священник повернулся лицом к мальчикам и начал говорить. Голос у него был всегда ясный и громкий, ничем не выдававший его преклонных лет, но сейчас это был старческий, надломленный голос, тихий, почти переходивший в боязливый шопот, словно он боялся что-то сказать и чего-то недосказать. Он ничего не говорил об убийстве вообще, о том, что убийство — это злодеяние, что человек — создание божие, которому жизнь дарована самим господом, а потому издревле божеские заповеди запрещают отнимать жизнь у другого. Он не говорил, что каждый человек наш ближний, а потому поднять руку на кого бы то ни было, даже на своего обидчика, непрости-

тельный, смертельный грех. Словом, он не говорил ничего такого, что обычно слышат люди от священника. Он только объяснил мальчикам, в чём их подозревают и что им грозит, если виновник не объявится и не признается, кто его подговорил. Немцы оторвут их от родного дома. Они будут жить одинокие между чужими, без ласки и без любви. Чужие люди научат их ненавидеть то, что было до сих пор им дорого и мило. Это будет большим горем и для них, и для их родных, и для всех, кто их знал. Если кто-нибудь из них действительно совершил такое дело,— хотя сам он не верит, чтобы это сделал один из них,— пусть тот признается, чтобы из-за него не пострадали другие. И точно так же, если кто-нибудь из них знает об этом деле, пусть скажет, что знает. Не для того, чтобы избавиться от наказания или получить награду, а для того, чтобы спасти невинных от несправедливости.

Всё время, пока священник говорил, полковник смотрел на офицера, пробовавшего сначала служить переводчиком. Тот кивал головой, и полковник знал, что священник говорит, как приказано.

Когда мальчики поняли, о чём идёт речь, всё их напускное спокойствие разом исчезло, на лицах изобразился ужас. Они представляли себе в худшем случае допрос и расследование вроде тех, которые нередко происходили в стенах школы, когда надо было выяснить, кто разбил окно или произвёл опустошение в саду, но оказалось, что на них обрушилось обвинение поистине страшное. Они ещё не опомнились от потрясения, вызванного вчерашними разоблачениями Ярки, ещё не оправались после лихорадочной ночи, отравленной страхом за отцовскую жизнь, а их подстерегал уже новый ужас. Те, кто был вчера в

старом амбаре, думали, что, может быть, Ярка, как всегда, и на этот раз знает больше, чем другие. Но когда они украдкой на него поглядывали, они видели на его лице такой же испуг, как у всех. Только у Ярки испуг имел другую причину. Он не знал, что ему делать,—признаться, чтобы спасти мальчиков от участи, которой грозили им немцы, или молчать, молчать, молчать, как он обещал Яноушеку? Так или иначе, испытующие взоры полковника, от которых не укрывалось ни одно движение пятнадцати ребят, видели на всех лицах только испуг. И на каждом лице морщины по-иному избороздили лоб, по-иному были вытаращены глаза, по-иному искривились губы, точно некий художник захотел изобразить на пятнадцати юных, гладких лицах все оттенки смертельного ужаса. Но никто из мальчиков даже рта не раскрыл, чтобы, повинувшись страху, сказать то, чего требовал этот страх.

— Даю им пять минут времени для добровольного признания,—отрывисто сказал полковник.— Переведите им!

Он вынул из кармана часы и положил перед собой. Но священник обратился не к детям, а к нему почти неслышным, умоляющим голосом:

— Господин полковник, я сорок лет священствую в этом приходе. Я крестил всех здешних детей и родителей большинства из них. Я провожал в могилу их дедов и прадедов, если только они не находили себе могилу в шахте. Я знаю каждую семью, знаю в нескольких поколениях. Это семьи честных людей, и за все сорок лет я не припомню здесь ни одного такого случая, как сегодняшней. Они не очень усердно посещают мой костёл и не очень внимательно слушают мои проповеди, но они честно добывают хлеб свой в поте лица своего тяжёлым трудом на полях

или в шахтах. Если вы разрешите, я, не задумываясь, поручусь вам головой, что ни один из этих ребят не повинен в деянии, которое вы им приписываете.

— Ну, и проиграете свою голову, — усмехнулся полковник. — Вы им только скажите, что у них есть пять минут на размышление, не больше. — Полковник расстегнул свой широкий пояс, снял с него кобуру с револьвером и хлопнул поясом по столу, намеренно брякнув металлической пряжкой; затем, обратившись к священнику, который кое-как пролепетал детям то, что требовал полковник, сказал: — Так. Можете идти. Теперь я сам буду объясняться с этими поганцами. — И так как священник, воздев руки к небу, лепетал ещё что-то, полковник приказал: — Вывести его!

Священник еле успел уже в дверях обернуться ещё раз к мальчикам и сказать им:

— Да хранит вас господь!

Полковник неподвижно сидел за столом. Время от времени он поглядывал на стрелки часов и снова сверлил глазами детей. Но он видел перед собой не детские лица, не глаза, полные страха, но вместе с тем и святой чистоты и невинности, потому что жизнь ещё не оставила в них своего мутного отпечатка; не розовые губы, хотя и дрожащие от испуга, но свежие и сочные, ещё не высушенные ветрами житейской суеты, ещё не обожжённые страстями; не юные побеги человеческого древа, светлую зарю человеческого утра, не вечное чудо нового творения человека и нового расцвета человеческого рода — то, что делает детей священными для людей всех стран света. Он видел только плоть от плоти враждебной нации, которая лишь недавно была покорена и ещё не чувствовала достаточного почтения и достаточного страха перед новыми господами.

Это отродье осмелилось посягнуть на жизнь одного из господ. Но кто берёт в руки оружие, тот взрослый, как бы юн он ни был по облику. Эти дети — икринки мятежа, зародыши вражды, и надо с ними соответственно поступать.

Полковник взглянул на часы. Остаётся ещё около минуты. Он выполнит обещание. Пять минут, без урезки. Но и другое обещание он тоже выполнит, он вынудит у них признание. Без всякой жалости. Кто они? Отродье племени, которое в одну ночь вырежет нас, немцев, кухонными ножами, если только мы проявим признаки слабости. Какие там дети! Вырастут и будут по ночам подстерегать нас с ножом в руке. А главная проблема в том, чтобы никто не смел поднять на нас руку. При чём тут „дети“!

Пять минут прошло. На площади у школы поднялся шум. Офицеры подошли к окну. Полковник, не вставая из-за стола, знал уже, что происходит за окном, и решил, что прежде чем начнётся действие здесь, надо будет распорядиться, чтобы людей на площади разогнали.

На площади у школы священника, вытолканного полицейскими, встретили градом вопросов. Что там происходит? Чего они хотят от детей? Почему маленьких и девочек отпустили, а старших мальчиков держат там? Моего мальчика! И моего! И моего! Что это за новое безумие? Священник не сразу пришёл в себя. Наконец он набрался отваги и объяснил:

— Они говорят, что учителя убил один из мальчиков. Никто другой не мог к нему проникнуть, так как единственный путь был через окно, заграждённое решёткой.

Толпа ахнула от неожиданности, и матери ребят, оставшихся в школе, протолкались к священнику. Он продолжал:

— Они говорят, что если им не удастся выяснить, кто это сделал, они отправят всех мальчиков в Германию. Но я боюсь другого. Я боюсь, что у кого-нибудь из них они вынудят признание.

Люди поняли.

— Они их будут истязать!

— Пытать!

— Изуродуют на всю жизнь!

Несколько мужчин пробились вперёд и жалели только, что у них нет в руках их добрых шахтёрских кирок. Полицейские у дверей взяли карабины на изготовку.

Но тут между подолянами и немцами вырос Яноушек.

— Я пойду туда и всё улажу. Не бойтесь, я вызволю ребят, мы не дадим их искалечить. Прощайте, люди добрые!

Так говорил Вацлав Яноушек у дверей подольской школы. Для старого солдата, верного слуги родной деревни, доброго друга всех земляков, и старых, и малых, это была целая речь. Простая речь, правда, но он вложил в неё гораздо больше, чем мог выразить в словах. В эту минуту он чувствовал себя вновь легионером-добровольцем, солдатом нации, идущим в бой за слабых и незащищённых. Он выпятил грудь, как отставной служака, которого в решающий час вновь призывали в строй, и вот он, старый усач, готовится с прежним пылом ринуться на врага и воскресить давно забытую славу доблестных дружин. Он чувствовал себя, словно на трибуне, под триумфальной аркой, в колонне на торжественном параде, перед глазами его развевалось красно-бело-синее знамя, в ушах звучали старинные гимны и хоралы. Но все те образы, что пламенели в его душе, и все фанфары, которые в ней звучали, доходили только до его уст, а с уст сходили са-

мые обыкновенные слова, какие можно слышать каждый день. Так шёл Вацлав Яноушек спасать детей своей деревни. Прощайте, люди добрые!

Яноушек,— что это было, ловкость старого солдата или что другое? — прошёл между двумя поднятыми на уровень его груди немецкими карабинами, словно не замечая их, и плечи его так легко раздвинули двух полицейских, крепко упиравшихся в землю широко расставленными ногами, словно это были дощечки редкой изгороди, держащиеся только на одном гвозде. И прежде чем немцы успели кинуться ему вдогонку, он уже был внутри.

Яноушек вошёл в класс. Ещё не закрыв за собой дверь, он окинул быстрым взглядом мальчиков и вмиг нашёл, кого искал. В этот миг они успели переговорить обо всём. Яноушек сжал губы, Ярка тоже. Яноушек незаметно кивнул головой, Ярка ответил таким же кивком. Это значило, что он молчал, как наставлял его Яноушек. Тогда у Яноушека скользнула лёгкая улыбка под усами, и Ярка тоже улыбнулся. Но значение улыбки могло уже быть разным. Возможно, что Яноушек похвалил мальчика за то, что он держал себя как надо, а мальчик своей улыбкой благодарил его за то, что он пришёл сюда в нужную минуту и своим присутствием снимает с его плеч тяжесть решения; возможно, оба хотели сказать друг другу, что они на правильном пути и всё кончится, как они хотели. А может быть, улыбка означала только, что они привязаны друг к другу, старый боец и мальчик.

Никто, кроме Ярки, не заметил, что Яноушек на мгновение приостановился, всем каза-

лось, что он сразу решительными шагами направился к кафедре, поглядел на лежавший на виду толстый кожаный пояс полковника и сказал:

— Это я сегодня ночью убил вашего учителя.

Он услышал за собой изумлённый шопот мальчиков, но полковник глядел на него с явным недоумением. И Яноушек сообразил, что он говорит по-чешски, и его понимают только дети, а этот немец — нет. Лет тридцать тому назад, когда он отбывал в старой Австрии три года воинской повинности, он научился по-немецки, то есть приобрёл запас из двух-трёх сотен слов казарменного обихода. И он повторил опять полковнику на языке, который считал немецким:

— Это я убил вашего учителя.

Но на своём упрощённом немецком он воспользовался для этого признания словом, которое звучало для немецкого уха, как „зарезал“, „заколол“, „распотрошил“, то есть словом, которым немцы пользуются, когда говорят об убое скота. Офицеры заволновались, это было оскорбление! Но полковник понимал, что дело в содержании, а не в словесных красотах. Он жестом успокоил офицеров, усмехнулся и произнёс:

— Хотите помочь вашим щенкам, да?

Яноушек дотронулся кончиком указательного пальца до медной пряжки на поясе полковника и усмехнулся в свою очередь.

— А вы, я вижу, тоже хотели им помочь?

Полковник очутился перед совершенно неожиданной проблемой. Всё было налажено, а тут вдруг явился этот тип и портит ему дело. Чтобы выиграть время, он прибег к обычному приёму.

— Уберите куда-нибудь мальчишек, — распорядился он. — В коридор, что ли.

Если потребуется очная ставка, мальчики не

будут знать, что говорил этот человек, а с другой стороны, вынужденный перерыв должен был дать полковнику время для размышления. Яноушек тоже воспользовался перерывом. Он уселся на парту прямо против кафедры, как хороший ученик, который только что добросовестно ответил учителю урок и возвращается теперь на своё место. Он и вправду сидел когда-то в этом классе — лет пятьдесят тому назад. Но не на первой парте. Учился он не очень хорошо, и учитель загонял его на самую последнюю парту, где сидели мальчики, на которых оставалось только махнуть рукой. Это была так называемая „ослиная скамья“. Сегодня впервые Яноушек удостоился чести сидеть на первой парте.

Полковник, наконец, обратился к нему:

— Я вижу, что вы мой язык понимаете. Я ваш тоже. На всякий случай, если вы слоткнётесь, вам поможет мой офицер. Я хочу быть справедливым и предоставить вам все шансы.

Офицер, который не годился для детей, вполне подходил для Яноушека. Яноушек не очень нуждался в том, чтобы ему переводили вопросы полковника, так как понимал он по-немецки гораздо лучше, чем говорил. Да и для своих ответов он не особенно трудился подбирать слова. Наоборот, он был очень доволен, когда то, что он говорил этим немцам, звучало грубо и прямолинейно; ведь это были единственные удары, которые он мог сейчас им нанести. В этом духе и происходил весь его разговор с полковником.

— Так вы говорите, что вы убийца здешнего учителя. Прежде всего, кто вы такой?

— Вацлав Яноушек, пятидесяти пяти лет, бывший ефрейтор второго пехотного полка, место рождения и постоянного жительства Подолье, до

недавнего времени был здесь сельским исполнителем.

— Теперь скажите мне, за что вы убили учителя. Были у вас какие-нибудь особые мотивы?

— Вы же сами знаете, что он был таким же учителем, как вы или я. Он был вашим шпиоком здесь в Подолье.

— Вы думаете? Очевидно, у вас в Подолье совесть нечиста, если вы боитесь, как бы что не вышло наружу.

— О совести лучше не будем говорить. А мы... всё равно, будь мы даже чисты, как новорождённые младенцы, это нам ничуть не помогло бы, раз тут сидел ваш шпион. Мы были отданы ему на съедение. Он мог выдумать на нас, что хотел, и для вас каждое его слово было бы как евангелие. У нас в деревне никому и в голову не приходило, что он шпион; я сам только вчера открыл это, чисто случайно. Как? А вот так. Возвращаюсь я вчера вечером домой, — раньше, чем я предполагал, — и вдруг вижу, что он роется у меня в сундуке. Что мне было делать? Броситься на него? Нет. У него, конечно, был припасён револьвер на подобный случай, а я ещё непрочь пожить. Но я сказал себе: эге, он тут орудует уже целый месяц, черт его знает, чего он только не насочинил и не придумал, знаем мы таких молодчиков. И я решил — убью его, пока он ещё не успел наделать зла невинным людям. И в ту же ночь я пошёл и убил его.

— Итак, вы руководствовались самыми благородными побуждениями. Может быть, вы ещё скажете, что вы только защищали право и справедливость?

— Права у нас вы все отняли, а ваша справедливость тоже нам хорошо известна.

Офицеры заворчали — дерзость этого мужика

переходила всякие границы, но полковник поднял руку — тише! Этот человек был ему более по вкусу, чем глупые мальчишки; с ним можно будет немного позабавиться. Показать ему превосходство духа, а потом уже превосходство сил...

— Не будем заниматься политикой, — произнёс полковник с улыбкой, которая должна была подчеркнуть, что точка зрения Яноушка не заслуживает серьёзных возражений. — Вернёмся лучше к фактам.

И он задал несколько вопросов, на которые получил вполне вразумительные ответы. Яноушек заранее всё обдумал, чтобы не попасть в противоречие с действительными событиями прошлой ночи; он знал их по рассказу мальчика и позволил себе только переделать их на свой рост. Всё, что он скажет, должно указывать на повадки взрослого человека, чтобы подозрение не могло вновь обратиться на детей. Он знал, конечно, что будут и опасные вопросы. Например, такой:

— Как вы попали в комнату учителя?

Яноушек спокойно ответил:

— У меня был ключ. Я ведь был здесь в деревне вроде прислуги за всё. Назывался сельским исполнителем, но был также и школьным служкой. Последнему чешскому учителю я убирал комнату, он дал мне второй ключ от неё, и ключ остался у меня.

— А вам известно, что этот ваш чешский учитель противозаконно перебрался через границу и находится сейчас во Франции? В иностранном легионе?

„Спасибо за добрую весть“, — подумал Яноушек, но вслух сказал только:

— Я знал, что он хочет за границу, но не знал куда.

— Так. Дальше. Значит, у вас был ключ. И

вы убили учителя с заранее обдуманном намерением. Когда именно сложилось у вас это намерение?

— Я же вам сказал. Вчера вечером.

— Знал об этом ещё кто-нибудь, кроме вас?

— Нет. Вся деревня уже спала. Я шёл пешком из Кладно. Там меня остановил ваш патруль, можете справиться. А оттуда до Подолья добрый час ходьбы. И вообще летняя ночь коротка, у меня просто не было времени ходить и звонить о своих намерениях, даже если бы у меня была такая привычка.

— Хорошо. Значит, вы увидели его у себя, а потом направились к школе и ждали, пока он заснёт.

— Правильно.

Ещё несколько вопросов, быстро следовавших один за другим, и, наконец, полковник спросил:

— Чем вы убили его?

— Его собственным кинжалом, который он получил от Гитлера.

— Каким образом он попал в ваши руки?

— Он лежал на ночном столике.

— Значит, вы убили его не каким-либо орудием, принесённым с собой?

— Нет.

И полковник начал расспрашивать Яноушека о совершенно посторонних вещах. Даже о том, сколько времени провёл он на фронте в годы первой мировой войны и в каких сражениях он участвовал. Обычно Яноушек весь разгорался, когда ему представлялся случай об этом поговорить, но полковнику он отвечал очень скупно. Ему казалось, что это не входит в обязанности обвиняемого, а вступать в дружескую беседу с немцем он не собирался. Но вопросы, видимо, преследовали определённую цель. Полковник

вдруг переменял тон и резко сказал, словно поймал Яноушека с поличным:

— Вы говорили, что хорошо обдумали план убийства. Не спешили. Выжидали. И я вижу, что вы — старый солдат, привыкший предусматривать всякие случайности. Вы знали уже, что учитель вовсе не учитель, а когда застали его у себя, то подумали, что у него есть с собой, вероятно, револьвер. Как же после этого вы, опытный, старый вояка, пошли убивать его в его собственном помещении и не взяли с собой никакого оружия? Кому вы это рассказываете?

„Попался,— подумал Яноушек.— Он не верит, что это сделал я, и хочет опять всё свести на детей. Действительно, надо быть дураком: человек собирается укокошить гестаповца и ничего не берёт с собой. Но кончено, уже сказал. Что же делать? Неужели не удастся спасти ребят, ведь он не поверит мне, что я пошёл на него с голыми руками! Голыми руками? А почему бы нет?“

— Оружие у меня, конечно, было с собой. Это оружие всегда при мне,— сказал Яноушек и засмеялся.

— Вот как?— полковник слегка перегнулся к нему через стол; сейчас он его поймает на противоречии.— Ну-ка, живо, где это оружие?

— Вот оно,— ответил Яноушек и протянул обе руки так, чтобы все их видели.

Это были рабочие руки, огрубевшие от дробления гравия для общественных дорог, рубки дров, обтёсывания камней, рытья канав, от всей той тысячи профессий, которые совмещал в своём лице Яноушек. Руки, тяжёлые и твёрдые, как куски растрескавшейся горной породы, а пальцы шевелились медленно и с трудом, как неподатливые железные крючья.

— В другом оружии я для него не нуждался. Если я о чём-нибудь думал, так только о том, чтобы он не кричал и не всполошил всю деревню. А для этого, я знал, лучше всего мои руки, под ними он не пикнет. Но он вскочил с постели и кинулся на меня. Тогда я схватил со столика эту штучку и прикончил его одним ударом.

Трудно было сказать, хорошо ли понимал полковник его слова, но в тоне его было столько сурового спокойствия и он дополнял свои слова такими выразительными жестами, что с лица полковника постепенно сползало удовлетворение охотника, поймавшего дичь, сменяясь выражением холодной злобы.

Для Яноушека это была не игра. Он видел, что полковник не хочет отказаться от своего первоначального убеждения, что учителя убил один из мальчиков, и вовсе не хватается с радостью за его добровольное признание. Он рассчитывал, что после первых же слов его просто застрелят на месте, как это в обычае у гестапо, и всё будет кончено, а вместо того ему приходится чуть не насильно просовывать голову в петлю. А что если он брякнет какой-нибудь вздор и тогда пропади ребята?

А для полковника это всё же была игра. В конце концов этот старый солдат был не так скучен и уныло благороден, как бывают обычно подобные добровольцы, можно было ещё немного поиграть с ним в справедливость и правосудие, а когда настанет миг, схватить его за горло и вернуться к юным оборванцам. Полковник мысленно уже предвкушал, как он будет рассказывать приятелям за стаканом вина о всех драматических оборотах расследования. Он гонял Яноушека, не давая ему передышки и расставляя западни на каждом шагу, и был очень доволен собой,

а офицеры за его спиной слушали, затаив дыхание, словно перед ними выступал на сцене выдающийся виртуоз.

Но Яноушек держался всё время на-чеку. Он уже знал, что ни один вопрос не задаётся впустую, они ложатся один на другой, как кирпичи, останется где-нибудь незаполненное место, и вся постройка рухнет. А под развалинами погибнут Ярка и остальные ребята.

Так прошёл весь допрос. С одной стороны, охота для развлечения, с другой — честный бой за жизнь детей и собственную смерть. Если речь шла о том, была ли на двери задвижка или Яноушек проник в комнату совершенно беспрепятственно, он догадывался, в чём здесь подвох, и сочинял целый рассказ о ключе, который ему надо было вытолкнуть из замка. Если полковник спрашивал, не унёс ли он чего-нибудь из вещей, он возмущённо отвечал: „Что я, вор, что ли?“ — хотя понимал, что полковник подозревает существование каких-нибудь записей, но достоверного ничего о них не знает. Он уже радовался, что всё сошло благополучно и спрашивать его, кажется, не о чем.

И тут-то как раз полковник извлёк из колчана последнюю стрелу, которую держал наготове с самого начала.

— Ответьте мне ещё на один, последний вопрос. Ни ключ, ни кинжал найдены не были. Куда вы их дели?

— Бросил в реку.

Полковник подпёр подбородок ладонью и вызывающе расхохотался. Да, да, именно на этом он с самого начала собирался его пришить и уличить. Лишь с помощью переводчика Яноушек уразумел всё значение этого хохота. Его собственного знания немецкого языка не хватало для по-

нимания всех тонкостей злорадной иронии полковника.

— Так, так! В реку, говорите? Я, добродушный немец, слушаю вас целых полчаса, стараюсь, чтобы справедливость не потерпела ни малейшего ущерба. Собираюсь поверить вашему признанию и сделать из него все законные выводы. И вот когда вы можете действительно доказать правдивость ваших утверждений, предъявив в дополнение к ним два предмета, которые вы держали сегодня ночью в руках, выясняется, что эти вещественные доказательства пропали! Покоятся на дне реки! Другими словами, разыскать их нельзя. Вы хотели меня провести, но изобличили сами себя.

Что? Ставить под сомнение единственный кусочек правды из всего рассказа Яноушека? Отрицать его участие там, где он действительно вступил в дело? Яноушек спокойно и самоуверенно кивнул головой.

— Велите повести меня к реке, и я вам найду.

— Ещё чего нехватало! — опять засмеялся полковник. — Чтобы произошла какая-нибудь неожиданность, вроде попытки к бегству. Вы хотите, чтобы по вас стреляли, а мне такой вид покушения на самоубийство совсем не нравится.

— Пошлите тогда своих людей. В двух шагах от моста растёт старая ольха. Я стоял как раз под ней, когда кидал это в воду. Там, шагах в десяти от берега, выступает из воды несколько больших камней. И я слышал, как кинжал ударился об один из них и звякнул. По-моему, я даже видел, как блеснула искра. Там очень мелко. Ваши люди безусловно найдут и кинжал, и ключ. Конечно, если они будут искать добросовестно.

Это звучало просто и убедительно и произне-

сено было с большим достоинством, как вызов на последний бой, и полковник не захотел уклониться от вызова.

— Хорошо. Я снова предоставляю вам все шансы,— сказал полковник; он не сомневался в результате и готов был торжествовать заранее.— Вахмистр Кнальмайер, вы хорошо знаете здешние места. Возьмите с собой шестерых человек и поищите там в реке. С достодожной немецкой основательностью.

И полковник откинулся на спинку стула, располагаясь к продолжительному ожиданию. Ожидание было прервано прибытием санитарного автомобиля. Из автомобиля вышли два солдата с носилками и направились в комнату учителя. Полковник опередил их, чтобы ещё раз взглянуть на посеревшее лицо лейтенанта Гельмута, прежде чем тело унесут на носилках. Такой красивый малый! Он торжественно отсалютовал мёртвому. На лестнице сидела кучка мальчиков под охраной двух часовых. Полковник прошёл мимо них, когда проносили носилки. На их лицах он видел только обыкновенный детский страх перед мёртвым телом. Когда они сидели так в полутьме, на ступеньках, колени к самому подбородку, растрёпанные, полуодетые, они и впрямь были только школьники. Они казались ему сейчас более слабыми, незначительными и безличными, чем в освещённом солнцем классе, когда он пробовал читать в их глазах. Если бы он сейчас наступил на эту кучку и стал топтать её, их кости хрустели бы под его сапогами, как пустые ореховые скорлупки. Дрянь, мусор! И один из них убил такого красивого, сильного малого. Бедняга Гельмут! Но геройской смерть его назвать нельзя. Тот старый солдат придал бы больше достоинства этой смерти.

Полковник вернулся в класс и от нечего делать стал просматривать бумаги, вытасканные из портфеля. Офицеры вполголоса разговаривали и смеялись. А Яноушек занимался на своей парте тем же, что и полсотни лет тому назад, когда ему надоедало слушать рассуждения учителя. Он вытащил из кармана складной нож и начал вырезать на парте свои инициалы. Там было много всяческих инициалов — память, оставленная по себе многими поколениями школьников. Он с трудом нашёл свободное место и стал старательно выводить ножом „ВЯ“, точно здесь всегда сидел ученик Вацлав Яноушек. Он хотел было вырезать над инициалами ещё и крест, но потом решил, что это служило бы грустным напоминанием для детей. Поэтому оставшееся время он употребил на то, чтобы чистенько подскоблить буквы. Но вот в дверях показался вахмистр. Полковник сложил свои бумаги в портфель. Яноушек спрятал нож в карман. Ожиданию и скуке пришёл конец.

— Нашли что-нибудь? — спросил полковник.

Преисполненный усердия вахмистр торжественно положил на кафедру гитлеровский почётный кинжал.

— Нашли в точности на указанном месте.

— А ключ?

— В реке очень много камней. Отыскать между ними такой небольшой предмет почти невозможно.

„Итак, — подумал полковник, — могу на выбор: принять кинжал как доказательство или вернуться к мальчишкам. Возможно, что их показания в конечном счёте привели бы опять к этому грубияну. Но если нет, то Гельмуту, национальному герою, молодому немецкому богу, мы дали бы погибнуть от руки босоногого чешского школьника. Это

не делает чести ни ему, ни нам. А вахмистр просто великолепен. Исполнителен, как машина“.

— Благодарю вас, вахмистр,— сказал он вслух.— Явитесь сегодня же в окружной штаб в Кладно. Я прикажу откомандировать вас в моё личное распоряжение. Вы блестяще отличились во всём этом деле и заслуживаете лучшего места.

Вахмистр щёлкнул каблуками. Так громко он не щёлкал никогда в жизни. Это был настоящий вопль блаженства, вырвавшийся из глубины армейских сапог.

— Подождите там дальнейших приказаний,— продолжал полковник.— Мы приступим к совещанию. Я полагаю,— обратился он к офицерам,— что виновность этого человека достаточно доказана.

Повидимому, ни у кого из офицеров не нашлось возражений, только один из них позволил себе сделать несколько робких замечаний. Если господин полковник разрешит напомнить, то ведь он сам обратил внимание на мальчиков. И, несмотря на все доказательства, можно всё же сомневаться, что Гельмута убил этот человек. Правда, у него руки настоящего убийцы, но взрослый человек и притом бывший солдат, как справедливо говорил господин полковник, наверное, захватил бы с собой какое-нибудь оружие, чтобы быть готовым ко всяким случайностям. В деревне всегда есть под рукой подходящий предмет. Топор, например. Или хотя бы складной нож, который и сейчас у него в кармане.

Полковник выслушал офицера до конца.

Вы хотите сказать, что Гельмута убил один из этих щенков, как думал сначала и я?

— Так точно, господин полковник.

Полковник задумался. Наступила та пауза, когда хорошо отрегулированная и проверенная

машина в голове дробит, отсеивает и прессует все за и против, пока они не выльются в точные слова безапелляционного приказа. В мозгу полковника проносились чередой красивые и правильные, сейчас уже восковые, черты мёртвого лейтенанта, копошащиеся на ступеньках лестницы жалкие мальчишки, знак свастики, лицо фюрера, планы Германии, простирающиеся на всю Европу и на весь мир, глупая игра в закон и справедливость, на которую он потратил целый час. Всё это дало новое направление его мыслям, отклоняя их от первоначальной диагонали, на которой всё сводилось к вопросу — тот или этот угол, пока они не остановились, наконец, в определённой точке и не превратились из мыслей в решение.

— Если вам кажется, друзья мои, что убийство могло быть совершено только одним из мальчиков, то в интересах немецкой нации советую вам молчать об этом. Мы объявили всем и каждому, что само правительство этой страны призвало нас, чтобы мы взяли чешский народ под свою опеку. Мы кричим на весь мир, что сотрудничество с нами будет счастьем для этих людей, что Германская империя обеспечит им покой и благоденствие. Но мы-то сами знаем, что мы за счастье для них, мы знаем, что каждый из них точит в мыслях нож, чтобы всадить нам в брюхо. Мы читаем это в глазах каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребёнка. Да, каждого ребёнка. И фюрер был бы нам не очень благодарен, если бы мы с треском засвидетельствовали перед небом и землёй, что в первой же стране, куда мы вступили, неся с собой мир, процветание и порядок, на нас точат нож даже дети. Да, даже дети.— Он помолчал с минуту, чтобы офицеры могли как следует взвесить и

уразуметь каждое его слово, и закончил: — Давайте же удовлетворимся самым обыкновенным виновником, который был изобличён с такой очевидностью.

Всё это время полковник ни разу даже не взглянул на Яноушека, а речь его была уснащена такими цветистыми оборотами, что Яноушек почти ничего не понял. Лишь по тому пафосу, с которым она была произнесена, Яноушек догадался, что это приговор.

А полковник уже отдавал распоряжения. Он приказал вахмистру привести к нему десять наиболее уважаемых жителей деревни. Все подольские мужчины стояли перед школой, и не прошло минуты, как в класс были введены все требуемые десять человек — само собою разумеется, священник, затем староста Белик, трактирщик, „землевладелец“ Рыдль, пан Барта и ещё пятеро. Они стояли тесной кучкой у дверей, полуодетые, как были с утра. Полковник обратился к ним:

— В вашей деревне совершено было неслыханное злодеяние, был коварно убит немецкий подданный. Человек, отважившийся на это дело, изобличён, признался и на основании военного положения будет немедленно предан смертной казни. Но и деревня, которая терпела такого человека в своей среде, тоже должна быть подвергнута каре. Налагаю на деревню Подолье штраф в размере пятисот тысяч корон.

Те из десяти, кто понимал его, удивлённо переглядывались и шопотом передавали слова полковника остальным. Пятьсот тысяч — это была сумма, которую большинство из них даже не могло себе представить. Священник решился выступить вперёд и сказать, что таких денег не найдётся у всей деревни, ведь здесь живут по преимуществу бедняки-рабочие. Полковник вы-

слушал его с притворно-снисходительной улыбкой.

— Мне нет до этого никакого дела, — сказал он. — Деньги вы соберёте. Вы так дружно держитесь, когда творите злодеяния, что, наверное, отдадите друг за друга и последний грош. А чтобы этому помочь, я всех вас десятерых беру в заложники, и вы будете сидеть в тюрьме, пока деньги не будут внесены сполна.

Полковник, наконец, взглянул на Яноушека.

— А этого человека — взять и повесить! — Его взгляд остановился на очертаниях огромного дерева за окном. Очень хорошо, для деревни будет двойным оскорблением, если казнь совершится на его ветвях. — Вон там, на этом дереве, пусть любуются!

„Так, Вацлав. Значит, повесить, — говорил сам с собой Яноушек. — Собственно говоря, должны были бы расстрелять, ты ведь старый солдат. Но зато это наша липа. Она сейчас пахнет мёдом, в ветвях жужжат пчёлки, немецкий чурбан этого не знает, а это будут вовсе не такие плохие похороны. И на виселицу ты, Вацлав, пойдёшь, как воин“.

Яноушек полез рукой за пазуху и нащупал там в платке свой орден. Конечно, лучше всего было бы приколоть их на грудь, но связанный человек мало может сделать, а висящий ещё меньше: что если немцы сорвут их с него? Ну, да и так его отличия проводят его на смерть и лягут с ним в могилу, как он всегда мечтал.

„Иди же спокойно, Вацлав, ты сделал свое дело, вытащил из ямы Ярку и других ребят. Не верьте после этого в справедливость! Эти негодяи шлют сюда шпиона, чтобы он вытянул из детей имена

собственных отцов, и отцы пойдут тогда на казнь. Ну, слышали вы что-нибудь такое? Может ли человек придумать что-нибудь гаже? Но справедливость рукой ребёнка останавливает злое дело. А я спасу эту руку, пусть ещё поиграет, пусть окрепнет, пусть ещё потрудится для людей. Так мы и стоим трое в ряд — справедливость, ребёнок и я. Прощай, Ярка, мальчуган мой! Они хотели дважды украсть душу у ребят, — раз, чтобы ребята предали отцов и послали их на смерть, и два, чтобы они там у немцев забыли, откуда они родом, и, может быть, через десяток лет шли бить своих братьев, — но мальчишки останутся дома. Да, Вацлав, ты в праве сказать, что сделал свою работу на совесть“.

Полковник надел пояс, застегнул пряжку и стал натягивать белые перчатки. Он поглядывал при этом на старого солдата. За время службы в гестапо, особенно за последние богатые событиями годы, память его собрала обширнейший альбом зарисовок, показывавших, как ведут себя люди на грани между жизнью и смертью. Это была длинная лестница степеней, начинавшаяся внизу младенческим лепетом и звериными воплями, срывавшимися с окровавленных, разбитых уст, и кончавшаяся наверху восторженным безумием, переходящим в нечувствительность ко всякой боли или порою в гордость страстотерпцев, равнодушных к ней. Он думал, что видел уже все выражения лица и все телодвижения, возможные в эту минуту, и слышал всё, что можно слышать, все виды просьб, ругательств, мольбы, проклятий, все оттенки криков, жалоб и стонов. Но этот человек ведёт себя совсем иначе. Правда, его совсем не били. Но он ведь знает, что через минуту будет висеть. Обычно этого достаточно, чтобы всё поведение человека изме-

нилось. А он как будто не придаёт этому особого значения, посматривает вокруг, слушает, что говорят, нельзя сказать, чтоб равнодушно, но вовсе не с таким уж интересом, а его поза и все его движения просты и непринуждённые. Так мог стоять стекольщик, слесарь, вообще ремесленник, которого позвали для работы, не слишком трудной; он уже кончил, сложил инструменты и ждёт, чтобы ему заплатили. Вид самый будничнейший, ничуть не патетический, совсем не подходящий для приговорённого к смерти. Странные люди!.. Полковник кивнул офицерам, чтобы они следовали за ним к автомобилю, и на ходу сказал одному из них:

— Тех десятерых отвезёте в штаб. А приговор приведите в исполнение немедленно.

Сегодня двери школы не имели того вида, как в обычные дни, когда из них весёлым пёстрым потоком выкатывались дети, как яблоки из опрокинутой корзины. Сегодня они похожи были на устье обвалившейся шахты, медленно выпускающей на поверхность одну беду за другой. Их распахнули полицейские, которые стали прокладывать через толпу дорогу своему полковнику, раздавая направо и налево щедрые удары ничего не понимающим людям. Потом выбежали мальчишки,— одни раскрасневшиеся, как огонь, другие бледные, как смерть,— и начали рассказывать, что с ними было. Возле каждого мигом образовалась кучка возбуждённых слушателей. Что? Вас заподозрили в убийстве? Хотели бить? Вынудить ремнём признание? Увезти? В Германию?.. Но тут из дверей вышли десять подолян, окружённых полицейскими. Это ещё что? Что это значит? Задирая головы над кольцом немецких шлемов, они кричали, что их задержали как заложников, и наспех старались объяснить

соседам, о чём надо позаботиться за них дома во время их отсутствия, что починить, что приготовить,—как делает всегда хозяин, когда телега уже трогается в путь. Но священник, у которого домашних забот было меньше, чем у других, успел сказать, какая участь ждёт сейчас Яноушека. Дряхлый и разбитый, он шёл последним, отставая от других, и, пользуясь тем, что здесь цепь полицейских была немного реже, он просунул между чёрными мундирами свою старческую руку и начертил в воздухе большой крест. Крест благословлял всю деревню и особо напутствовал Яноушека, который должен был сейчас пройти по этой же дороге. Толпа разом стихла.

Она знала лишь часть того, что было: деревне грозила великая опасность, кто-то спас её, убив учителя, а Яноушек взял на себя вину, которую немцы хотели взвалить на детей. В это время из школы вывели Яноушека. Десять полицейских, держа карабины наперевес, образовали четырёхугольник, оцетинившийся сталью, а посреди четырёхугольника шагал Яноушек. Полицейские обступили его так тесно, что он не в состоянии был бы упираться или замедлить шаг, они бы просто понесли его между своими чёрными телами, как в движущейся клетке. Да, чёрные мундиры хорошо знали все приёмы своего ремесла.

Яноушек шёл спокойно. Казалось только, что он находится в некоторой нерешительности, словно не знает, как держать себя и куда смотреть. Лишь уголком глаза, так как он стеснялся поворачивать голову, он видел между стальными шлемами полицейских устремлённые на него взоры подолян. И точно так же между шлемами, уголком глаза он видел всё, что так любил. Орешник на берегу пруда, соломенные кровли,

высокие окна костёла и синее, сегодня какое-то особенно синее небо над головой. Но он не всматривался и не оглядывался, он шёл всё тем же ровным шагом, в ногу с полицейскими. Казалось, он не придавал никакого значения тому, что ждало его в конце пути. Всё важное осталось позади. Только один-единственный раз он вздрогнул, когда услышал выкрик мальчика. Ему слышалось, что мальчик крикнул: „Дяденька Яноушек!“ Он узнал голос Ярки. И прибавил шаг. Чего доброго, мальчик ещё выкинет напоследок какую-нибудь глупость! Но крик не повторялся больше.

Ярка вместе с остальными стоял у школы, и Криста судорожно держала его за руку. Она ничего не говорила, ни о чём не спрашивала, только вцепилась в него судорожно и безмолвно. Мальчик почти висел на руке сестры; если бы не она, он бы, вероятно, не удержался на ногах. Пока он сидел в школе под испытующими взорами немцев, ему было легко; все силы, всё внимание уходило на то, чтобы, как говорил Яноушек, и глазом не моргнуть, ничем не выдать ни себя, ни других. Хуже стало, когда их выгнали на лестницу после слов Яноушека о том, что он, Яноушек, убил учителя. На лестнице ему было очень тяжело; он сидел и думал, зачем Яноушек это сделал, что он замышляет и как он собирается спастись от кары. И вдруг он узнал, что Яноушек и не пробовал спастись, а упорно брал всю вину на себя, и вот его ведут на казнь, конец... И тут уж Ярка не в состоянии был больше повиноваться полученным от старого солдата наставлениям, он не задумывался, не рассуждал, не спорил сам с собой, он просто вырвался из рук сестры, бросился вперёд и начал кричать: „Дяденька Яноушек!“

Только этот возглас и услышали другие. Мальчик кричал ещё: „Дяденька Яноушек! Я не хочу, я не хочу! Тебя должны отпустить, это я его убил, а не ты, они не смеют казнить тебя вместо меня! Дяденька Яноушек!“ Но все эти слова задохнулись в чьей-то куртке, к которой голову Ярки прижала крепкая рука, а потом Ярка как будто плакал, положив голову на грудь какого-то мужчины, который ласково держал его за плечи. Ласково, но крепко, всей силой. И только когда мальчик утих, державшая его рука ослабла, и Ярка почувствовал, что теперь этот мужчина просто по-дружески прижимает его к себе. Он поднял глаза и узнал однорукого.

Тем временем чёрный четырёхугольник с Яноушеком посредине дошёл уже до верхней половины площади. Там не было ни души, только лицом к липе выстроились шеренгой немецкие солдаты, неподвижные, на ровном расстоянии друг от друга, точно чёрные пугала, внезапно выросшие из под земли.

— Пойдём, братец, со мной,— сказал однорукий.

Он тихонько обнял Ярку за плечи, повернул кругом, спиной к липе, и повёл. Вернее, не столько повёл, сколько позвал, но мальчик пошёл, он пошёл бы куда угодно бок-о-бок с этим человеком.

Однорукий шёл большими шагами, Ярка старался не отставать от него. Они дошли до костёла, повернули налево, мимо кладбища, за оградой которого начиналась просёлочная дорога, и вскоре очутились между высоких, уже золотившихся колосьев. Ни тот, ни другой не произносил ни слова. Мужчина всё ещё слегка обнимал мальчика за плечи, и мальчик понимал почему. Он не хотел, чтобы Ярка оглядывался. И Ярка

шёл и только слухом чувствовал за собою деревню; неправильно было бы сказать, что он её слышал,— он только чувствовал ухом её существование. Деревня вся застыла в оцепенении перед лицом великой драмы, не скрипели ни одни ворота, ни одно колесо, ни один журавль у колодца, не слышно было ни людских голосов, ни людских шагов. Слышен был только шелест листьев на деревьях, беспокойная возня домашней птицы, жужжание насекомых и чириканье воробьёв — шум, который бывает постоянно всюду, где живёт человек. Но ещё через несколько шагов мальчику показалось, что и эти слабые голоса жизни вдруг умолкли,— такая тишина настала. Словно его родная деревня перестала существовать. Словно там, позади, образовалась пустота. Подолье разом провалилось сквозь землю или вознеслось на небо. Повидимому, и однорукий почувствовал это молчание. И он крепко стиснул Яркино плечо, как раз в то самое мгновенье, когда мальчик не мог с собою больше совладать и уже совсем готов был обернуться. Ярка был в это мгновенье близок к обмороку, ему казалось, что и в нём тоже всё как-то омертвело. Не будь руки, которая его поддерживала и вела, он грохнулся бы, вероятно, наземь.

— Идём, сыночек, идём,— как сквозь туман услышал Ярка.— Ты пойдёшь со мной, тебе надо некоторое время побыть вдали от дома. Там тебе было бы слишком тяжело.— Они прошли ещё немного, и однорукий продолжал:— Потому я и увожу тебя. Твоя сестра знала, что я тебя уведу. И он... он тоже знал. Он сам меня просил, чтобы я не позволял тебе присутствовать при... этом. Он говорил — пусть мальчик не возвращается, пока впечатления не изгладятся немного и не потускнеют. Я обещал ему это перед тем, как

он... вошёл в школу.— Мальчик ничего не говорил, только слушал.— Так надо было. Тебя бы забили насмерть или искалечили на всю жизнь, да ещё вытянули бы из тебя много всяких сведений и имён. Нет, нет, не мотай головой. Ты ещё не знаешь, во что превращается человек после нескольких часов, а то и нескольких дней пыток, и чего только они не в состоянии придумать. И это происходит с сильными мужчинами, так что же мог бы вынести такой ребёнок? А кроме того, всех остальных ребят они и вправду отняли бы у родителей, как грозили, и заставили бы их забыть свой родной язык, свою страну и всех своих близких, сделали бы из них нечто ещё более уродливое и извращённое, чем они сами. Потому и пошёл Яноушек. А если бы не юн, пошёл бы я, или твоя сестра, или кузнец, или ещё кто-нибудь. Но Яноушек сказал: „Я человек одинокий, и я знаю обо всём от самого мальчика, из первых рук“. Да, это был боец, настоящий воин.

Они приближались к роще; однорукий держал теперь мальчика под руку, если бы Ярка и обернулся, деревни отсюда уже не было видно. На расходившихся по разным направлениям дорогах слышался рокот моторов.

— И ты, сыночек, не в праве был ему отказать. Не упрекай себя в том, что он взял на себя твоё бремя. Ему было бы гораздо тяжелее, если бы он этого не сделал. Он рассказал мне всё. И о дьявольском замысле немцев, и о том, как ты спас несколько десятков, а то и сотен людей от виселицы и немецких застенков. Ты имел на это право, зато другой в свою очередь имеет право спасти тебя, твоих товарищей и ваших родных. Видишь ли, друг мой, сейчас такое время, когда даже самопожертвование мы долж-

ны распределять между собой справедливо и целесообразно, а не рубить с плеча.—Однорукий чуть усмехнулся и продолжал: — Если бы ты знал, что такое символ, то я бы сказал, что мы с тобой — символ всей нашей борьбы. Я однорукий и веду здорового, славного паренька туда, где он сможет остаться здоровым и невредимым и переждать тяжёлое время. Мы, весь народ, сейчас связаны и тоже еле в состоянии владеть одной рукой. Но то, что нужно для нашей будущей жизни, мы должны здоровым и невредимым провести через годину ужасов. Яноушек только внёс свою лепту в это дело.

Мальчик уже немного успокоился. Он шагал рядом с человеком, о котором так много думал и от которого так много ждал. И под конец он отважился даже задать вопрос:

— Куда мы, собственно, направляемся?

— Мы поедem в Пшивоз. Там красивая река Сазава и густые леса. Там у меня сын, ему тоже тринадцать лет. Что? Тебе только двенадцать? Ну, значит, ты растёшь ещё быстрее, чем он. И дочка у меня есть, девятилетняя, она тоже будет тебе хорошим товарищем, она у меня настоящий мальчишка. Есть у нас лодка, надо только, чтобы вы её как следует выкрасили и окрестили каким-нибудь именем. И есть две молодых красивых овчарки, вы с Павлом займётесь их дрессировкой. Словом, дела будет достаточно.

Так, значит, Ярка не только идёт с одноруким, он поедет с ним, будет жить в его доме, вместе с его детьми! Конечно, река, лодка, собаки — это прекрасные вещи, но самое лучшее — это доверие, которое ему оказывается. То, что этот человек идёт с ним запросто и ведёт его к своим детям. Приобщает его к своей жизни и к

тому, что для него должно быть дороже всего. Ярка всем существом ощущал особый вкус этого доверия. Оно было похоже.. на что? Это... это такой же вкус, как у поцелуя, который Яноушек запечатлел вчера на его щеке, поцелуя, щекочущего жёсткими усами и пахнущего табаком. Да, именно так. Мужчины ему доверяли, принимали его в свою среду. Один подарил ему братский мужской поцелуй, другой посвящает его в свои тайны. И Ярка тоже чувствовал себя мужчиной.

Они вышли с просёлочной дороги на шоссе. За первым же поворотом они увидели человека, который стоял, нагнувшись, у автомобиля и что-то исправлял. А может быть, не исправлял, а только делал вид, чтобы иметь готовый ответ, если кто полюбопытствует, зачем он тут стоит. Ярка думал, что они поспешат пройти мимо, но однорукий остановился у автомобиля.

— Мы отвезём парнишку к нам в Пшивоз,— сказал однорукий.— Ну, садись, брат,— добавил он, обращаясь к Ярке.

Ярка влез в автомобиль. Ему случалось ездить в автобусе, иногда шофёр какого-нибудь грузовика соглашался прокатить его в кабине, но в легковом автомобиле с обитым кожей сиденьем он ехал первый раз в жизни. Он устроился на сиденье и улыбнулся.

Полковник возвращался в Прагу. Автомобиль подбрасывало на рытвинах и ухабах разъезженной крестьянскими телегами просёлочной дороги, приходилось ехать тихо, пока машина не выберется на шоссе. У полковника было поэтому время спокойно обдумать события сегодняшнего утра, и чем больше он думал, тем меньше его

удовлетворяли достигнутые результаты. Инициатива была вырвана у него из рук, и, несмотря на все прекрасные слова, которыми он оправдывал перед самим собой и перед своими офицерами поворот в ходе дела, надо признать, что всё оно от начала до конца обернулось совсем не так, как он хотел. Как это, собственно, могло произойти? Он задумал,— и считал это очень остроумной выдумкой,— выведать у детей, что творится в здешнем подполье, и послал сюда лейтенанта Гельмута, весьма приятного и многообещающего молодого человека. И что же — один из этих щенков его убил. Установить виновного без ущерба для немецкого престижа было невозможно, это значило бы громогласно заявить, что даже дети... Пришлось довольствоваться человеком, который сам полез в петлю. Всё это на первый взгляд вполне логично, но итоги крайне жалкие. В графе прибылей — только проявившиеся во всём блеске служебные качества вахмистра Кнальмайера, выгода, далеко не соответствующая масштабам дела. В графе убытков — мы ровно ничего не выяснили и потеряли преданного офицера. Кажется бы, все логично, но где-то, очевидно, скрывается ошибка. Где?

„Во мне самом“, — вынужден был признать полковник. Он уклонился от обычного способа действий. Надо было действовать по заведённому порядку, как действовал бы костлявый лейтенант Реннер. Сразу палки и разговор с этими поганцами по душам. Или как действовал бы со своим простым и здравым немецким смыслом вахмистр Кнальмайер, который знал, что убийцей мог быть любой человек из деревни, и не трудился бы расследовать, кто именно. Да, потому, что он уклонился от заведённого порядка и начал забавляться игрой в суд и следствие, империя по-

терпела поражение в поединке с жалкой чешской деревушкой и чешскими детьми. Бой выиграл от их имени самый обыкновенный, ничем не примечательный человек, который равнодушно относился к смерти или, может быть, считал её почётом для себя. „А вдобавок ко всему,— рассуждал сам с собой полковник,— ошибка была ещё и в том, что я велел его повесить на старом дереве посреди деревни. Это ещё более возвысило его; из висельника я сделал деревенского героя. Да, ошибка на ошибке. В чём их корень? Знаю. Именно в том, что я повёл игру в закон, правосудие, справедливость и тому подобное. Я хотел поразить этих людей тем оружием, которое они всегда обращают против нас. Конечно, это была пародия на справедливость, комедия суда, издевка над законом. Насмешка. Карикатура. Но в таких вещах, как право и справедливость, есть, очевидно, своя последовательность и закономерность, которая немедленно начинает действовать, стоит только пустить эти понятия в ход, хотя бы в самой жалкой, балаганной форме. С ними нельзя шутить и баловаться. Захочешь положить конец игре — и видишь, что они сковали как-то твою мысль. И в результате немецкое простодушие и прямота оказываются в проигрыше. Эти люди здесь недаром верят, что имя божеству, которое спасёт их, справедливость“.

Очень неудачное получилось утро; полковник ожидал от него совсем другого. Отныне он будет действовать строго по заведённому порядку, который стоил немцам нелёгкого и долгого труда. Сегодняшнее утро — лишний довод в пользу этого порядка. Целесообразно только простое, и самое простое это и есть самое целесообразное. Держись этого правила — и никогда не проиграешь. Если чешский посёлок, маленький или большой,

допустит в своих пределах что-либо наказуемое, то без всякого следствия и суда всех мужчин расстрелять, женщин — на принудительные работы, детей — в Германию, на воспитание. С этим сбродом нельзя иначе разговаривать. И нечего с ними вообще разговаривать.

Автомобиль полковника проезжал через какую-то деревню. Он ехал очень медленно, так как здесь между домами узкая дорога была особенно плоха. Деревня была точь-в-точь такая же, как та, которую полковник только что оставил. Словно двойник. Да, мужчин расстрелять, женщин на работу, детей угнать, а деревню сжечь или разгромить артиллерийским огнём и сравнять с землей, чтобы исчезло без следа ещё одно из гнёзд в которых этот сброд может жить и плодиться и которые только загромождают немецкий путь. Автомобиль всё так же медленно проезжал мимо последнего строения, у которого, как всюду в Чехии, была прибита на стене синяя овальная табличка с названием деревни. Полковник прочёл надпись на табличке. Там стояло: „Лидице“.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо пролога	3
Глава первая	7
Глава вторая	32
Глава третья	55
Глава четвёртая	82
Глава пятая	109